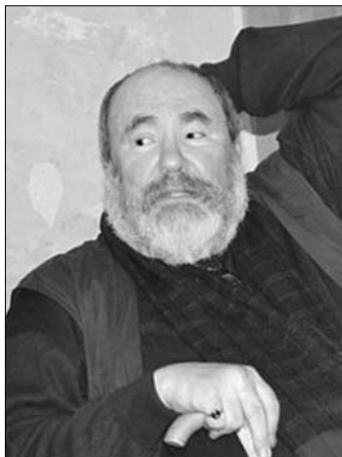


АНТОН ВАСИЛЬЕВ-МАКАРЕНКО



МИЛАЯ МАРИЯ,  
ДОРОГОЙ ИВАН

ПОВЕСТЬ В ПИСЬМАХ

Милая Мария!

Пишу тебе уже почти в полночь, скоро на кухне по радио зазвучит наш замечательный гимн, и я пойду его вырубать. Сейчас вернулся с Патриарших прудов, где власти организовали настоящую вакханалию под портретом Булгакова. Дело в том, что позвонил мне один старый знакомый бич, прозябающий ныне в церковном каком-то модном хоре, и пригласил посмотреть на него в подрыснике. Они тоже там выступать должны были. Но не выступали, или я опоздал, или не дождался. Но я больше не мог. Казалось, что вот-вот вспыхнет драка, и все начнут колотить друг дружку без разбора, обезумевши, или лучше сказать — взбесившись от бессмысленности всего происходящего. Причём ведь не пьяные все, а такие злые — странно. Не хлопают, а только свистят. И мне кажется, что знают цену и эстраде, и властям, которые заигрывают с населением, демонстрируя свою демократичность. Всю траву повьютптали вокруг воды, девицы то и дело визжат, но динамики их заглушают. Ансамбль “Бим-Бом” пел “Широка страна моя родная”, переме-

---

*ВАСИЛЬЕВ-МАКАРЕНКО Антон Сергеевич родился в 1953 году в Москве. В 1975 году окончил ВГИК. Российский режиссёр, сценарист, поэт, публицист. Автор кинофильмов “Блажной”, “Красиво жить не запретишь”, “По траве босиком” и многих других. Фильм “Москва-река”, снятый на студии Н. С. Михалкова, был признан лучшим на фестивале экологических фильмов “Зелёный взгляд”. Всего на счету А. С. Васильева-Макаренко более десятка документальных и публицистических фильмов, затрагивающих насущные проблемы экологии. С 1998 года он преподаёт режиссуру художественного кино во ВГИКе. Живёт в Москве.*

жая возгласами: “Америка! Америка!” Так что у них получилось что-то вроде: “Америка-Америка, другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!” А стражи порядка ходят по двое, словно большие по коридору прогуливаются, скучные такие, даже жалко их.

Я шёл домой, а над пустой узкой улицей в честь Дня города взрывались огромные красные хлопья салюта и кровью стекали с тёмных стен, посверкивающих стёклами окон. И всё те же визги преследовали меня из подворотен, словно черти там на помойках орут. Вот тебе и Патриаршие с Булгаковым. Вот тебе и подрысники!

Милая Мария! Спокойной тебе ночи, и пиши почаще. Теперь я живу один, и некому, кроме меня, твои письма брать из ящика, и тем более — уничтожать. Но обратный адрес свой не пиши, на всякий случай.

Твой Иван.

Дорогой Иван!

Здравствуйте. Я так была рада получить Ваше письмо, и так благодарна Вам за добрую память о нашем скромном житье-бытье, что, наверное, не выражу это словами, а только скажу, что весь день носила письмо с собой и перечитывала, и никак не могла понять, что там в нём, собственно, есть написанного.

Знайте, что моё отношение к Вам самое доброе, я всё помню, что Вы говорили в тот вечер, помните? Или Вы уже забыли за бурной сменой Ваших впечатлений? Смотрю в окно на чистое голубое небо, на голую крону клёна, чьи ветки раскачиваются во все стороны и, освещённая солнцем, она как чья-то бесшабашная разлохмаченная головушка, и — не знаю, как выразить Вам своё теперешнее состояние? Я снова без работы, уволилась из гостиницы. Сказать, почему — стыдно и горько. Нет, Вы не подумайте чего плохого, просто я не могла там больше оставаться. Куда теперь — не знаю. Только знаю, что не в петлю. Если б могла, я бы, наверное, воровала. Но я не могу, не умею и не хочу воровать. Неужели жить честно невозможно? У меня ничего не получается. Если сказать правду, я в отчаянии и не знаю, что делать. Это не крик о помощи, это так есть на самом деле, и всё.

Простите, Иван Осипович, я напишу Вам в другой раз ещё.

Ваша Мария Иноземцева.

Милая Мария!

Сегодня воскресенье, да и дождь к тому же, на улице совсем пусто. Так бывает и у нас в столице, но не повсюду, конечно, а в тех переулках, где я обитаю. Нынче пошёл за сахаром, реализовать оставшиеся талоны за октябрь, чтобы не пропали. Даст Бог, может, привезу излишки и в вашу “деревню”. Памятуя твой наказ, зашёл в церковь. При входе один мужик, деклассированный малый, вымолил у меня двугривенный. Так и сказал: “Дай, друг, московскому бродяге копеечку!” Интересно, не придётся ли и мне когда в будущем повторить эти слова? Стоя в храме, думал об аде: неужели он есть, неужели мучиться вечность целую в огне будем? Тогда бы, конечно, самое время покаяться. Тебе, наверное, милая Мария, это не страшно, а нам, грешным, что прикажешь? Поглядел я на своих верующих соотечественников, поиспытывал сочувствие и отправился дальше. Купил пачку сигарет в киоске — на всякий случай, для гостей. Сигареты тоже стали исчезать. Скоро будет совсем, как в Польше. И на что нам тогда вся эта гласность?

Милая Мария! Так скучно и пусто! Ложусь спать после чаю, может, приспишься ты.

Твой Иван.

Дорогой Иван!

Надо жить в вечности. Иначе просто можно сойти с ума от быстротечности времени, от того, как уходит в безвозвратную пропасть молодость и все наивные, но такие прекрасные, дававшие силу жить надежды и мечты.

Печка моя совсем развалилась, в ту щель, которую Вы мне замазывали глиной и при этом так хорошо смеялись, теперь видно огонь.

Это очень хорошо, что Вы заходите в храм, подаёте копеечку и размышляете об аде. Только этого мало. Я вовсе не хочу Вас поучать, просто мне очень хочется... Зачем Вы пугаете меня, говоря в письме о какой-то особой своей грешности не в пример нашей святости? Откуда Вы знаете, кто больше свят? Главное — это не согрешать в мыслях. А в моём тихом омуте такие мысли водятся, что лучше о них и не вспоминать.

Вчера моя сестра уехала к Вам в Москву и на три дня поселила у меня Олю. Как Вы понимаете, я этому очень рада. Сейчас она спит, а я люблю её улыбающимся личиком, слушаю её дыхание, радуюсь, что я не одна, и боюсь лишний раз пошевелиться, чтобы не разбудить её невзначай. Из-за всего этого я стала чутче ко всем звукам в доме, и слышу с половины соседей всё то, что обычно привыкла не замечать: их перебранку, отдельные слова даже и особенно телевизор, который у меня, слава Богу, с лета не работает.

Опять ничего не написала по существу, но уже время позднее, вернее — раннее, надо вставать, отводить мою единственную любимую в нелюбимую ею школу. Она-то ещё не ведает, что то, “что пройдёт, то будет мило”.

Мария.

Милая Мария!

Не потому вовсе я обращаюсь к тебе “милая”, что ты прошла, а потому, что мила ты моему сердцу, — и ты, и твой утопающий в антоновских яблонях городок, и твои ближние, ваши песни и ваши причуды, все эти “так-то вот”, и потому, что сама ты милостивая и родная. Никогда в жизни моей мне уже не забыть, как стоял я в ночи у открытого окна поезда, мчавшего меня к тебе, как вдыхал я всей грудью напоённый цветением трав июньский воздух, который ласкал мне лицо и руки, и вместе — саму душу. В те минуты я верил, что сама судьба несёт меня, как на невидимых крыльях, навстречу счастью, навстречу новой долгой жизни, которой не было, да и не может быть в нашей славной столице, потому что всё в ней не настоящее, а выдуманное, а там у вас всё настоящее, как животворящий чернозём, как прозрачные воды множества родников, бьющихся в высоком берегу под каждым домом. И сам я себе казался настоящим, могущим бросить всю ложь, всю условность моего прежнего существования. И уже я видел, как мы вместе затапливаем твою печь и как звучит чудесная музыка с твоей вечно кружащейся старой пластинки, и как во сне улыбаются и племянница твоя Оля, и наш пока ещё не родившийся первенец, и... не знаю теперь, что было за этим “и”? Что было за этим “и” в моём воображении, потому что то, что было затем в реальности, так же хорошо известно нам обоим, как и мало, в общем-то, походит на мечты, слетевшие ко мне тогда с лунным светом в открытое окно плацкартного вагона. Но почему-то всё кажется ещё возможным. Вокзал недалеко от меня — три остановки на метро, билет — в кассе, чай — у проводницы или проводника... Но утро... Утро, вот в чём проблема! Боюсь я, оказывается, утра, тёмная, полночная личность. Вот где омут!

Вчера днём выхожу на Пушкинской и вижу флаг, вернее — толпу, а над ней развевается, нет, раскачивается из стороны в сторону государственный триколор Российской империи, под которым и Добровольческая армия Деникина ходила в гражданскую на Москву, и Русская освободительная армия генерала Власова... И — до боли уже ставший знакомый тембр товарища Новодворской. Она и так-то непонятно чего говорит, когда говорит, а тут ещё, прости, Господи, в матюгальник пытается своё вложить. Но народу и того достаточно, что отдельные только слова, полужазы и междометия до него долетают: “мразь.. свобода.. горбатиться... дерьмо... демокра.. мышление.. ура.. долой... даздр...” Может, оно даже и сильнее производит впечатление на слушающих, когда в таком контексте, чем если бы слушали товарища Новодворскую обстоятельно, не теряя ни единого слова. А флаг-то всё из стороны в сторону чьиими-то борцовскими руками раскачивается на металлическом таком пустотелом древке, как на спортивных парадах носят. Наверное, подумалось мне, на этом древке или “Динамо” голубело, или краснел “Спар-

так”. Мне даже больно стало: всё, думаю, поздно, перехватили наш флаг они.

Что с работой, на что Вы живёте? Простите за нескромный вопрос, но Вы ничего не пишете об этом. Неужели совсем край? Пишите всё.  
Ваш Иван.

Дорогой Иван!

Здравствуйте, всё же. В первых строках моего гневного письма (я знаю, что слов моих Вы всё равно не боитесь) я хочу поблагодарить Вас за присланные Вами через сестру подарки: бутылку французского вина, которого мы непременно отведаем с Вами вместе, и Ваше драгоценное фото, на котором Вы изображены почему-то не одни, а в окружении двух очаровательных дамочек. Конечно, я уже научилась, кажется, понимать Ваш тонкий юмор, но не могу не признаться, что Вы меня заинтриговали, мой дорогой и незабвенный Иван, который по мере удаления во времени всё более превращается в легенду, миф и уже порой во снах и наяву начинает смешиваться в моей бедной головушке с другими образами и воспоминаниями. Не слишком ли я гневна?

Мечтам и снам не верь, они от лукавого. О работе напишу в другой раз, её всё равно нет. Береги себя, ты хороший.

Маша.

Милая Мария, здравствуй!

Сегодня весь день с утра идёт снег. Почему-то мне видится, что он засыпает и твой двор, покрывает крышу, мешается с белым дымком из трубы, облепляет калитку и ещё не успевшие опасть жёлтые осенние цветы. Ты ходишь на крылечко, смотришь на падающий снег, улыбаешься от лёгкого прикосновения снежинок к разгорячённым от жара затопленной печи щекам. Дальше порога ты не идёшь, потому что ты в домашних тапочках на босу ногу. Звуки с улицы и с соседних дворов приглушены падающей стеной белого волшебства, воздух свеж, всё чисто, дышится свободно, и на сердце весело и спокойно.

У моих друзей или, лучше сказать, товарищей снова проблемы с партией. Раньше они не знали, как договориться с совестью, чтобы туда вступить, теперь не знают, как поизящней выйти. Помню, как-то стоял я возле кабинета парторга, почти случайно или по какому-то чисто хозяйственному вопросу, а некто Н-ко пришёл подавать заявление о приёме. Увидел меня и смутился. Ему, так ярко декадентствующему ещё с института, любившему рассказывать антисоветские анекдоты и петь полузапрещённые песенки русскоязычных бардов под шестиструнку при стеариновых свечах из скобяного магазина, было неловко, что я вижу у него в руках дрожащий этот проклятый листок, дающий ему пропуск к безбедной или более сытой, или ещё какой, как ему мнилось, жизни. “А ты... тоже?” — спросил он с очень неясной улыбкой. Зачем-то я кивнул головой утвердительно. Со мной это бывает: впадение в бытовое юродство. Тут он потерял контроль над лицом, потому что моя с ним солидарность была для него чем-то невероятным. Он по-настоящему расстроился, что пришёл с этим позже даже И. О. Лозового. Я же встал со стула, сплюнул и вышел из приёмной, и даже ушёл совсем по длинному коридору домой, ни разу не оглянувшись.

Теперь они советуются — выходить ли, терять ли билет, сниматься ли с учёта или просто перестать платить взносы и лечь на дно?.. “Если хочешь себя уважать, не делай этого”, — сказал я одному. Но ведь он всё равно выйдет, когда станут выходить один за другим все конъюнктурщики и конформисты, и вся сволочь по приказу каких-нибудь свыше или сниже, и меня же будет клясть, что я посоветовал ему неправильно.

Не все таковы. Дочь одного знакомого композитора, натура художественная, искренняя и впечатлительная, шепнула мне в уголке застолья, что её подмывают одновременно два желания: вступить в партию и креститься. Я это очень хорошо понимаю, особенно в её положении, в её воспитании. Это, конечно, много лучше тех — по совести. Конечно, в партию она не

вступит, конечно, крестится когда-нибудь, а жить ей будет нелегко, как всем зыскующим правды Небесного града.

Грядёт новый хам на место старого, простая смена поколений. Пересматриваются, голубчики, перестраиваются, стратеги, перестраиваются те, у кого никогда не было личности внутри себя самого. С Горбачёвым, кажется, уже всем стало ясно. Как и обещали знающие его люди, заболтал всех, всю страну заговорил. Теперь обольщаются Ельциным. Грешен, и сам я хотел поверить, что бывают чудеса и, промыслом Божиим, затесался в собачью свору благородный волчара. “Он такой удивительный, непохожий на них на всех во всём, даже в мелочах”, — твердили мне те немногие, кому я верил, и я вольно или невольно увлекался, то есть переставал думать.

Я стою перед портретом Бориса Николаевича в мастерской художника Линёва. Хорошо знакомое нам всем по наборам фотографий на стендах, по массовой агитации непроницаемое “лицо” кандидата в члены Политбюро здесь, на холсте, максимально облагорожено, просветлено, в его морщинках и складках едва ли не есенинская скорбь, а в центре поясного портрета — обнажённое сердце, открытое для множества вражеских стрел, которые, как паучы нити, идут от мелких бесов, чёрных чертенят, скорпионов, свиношек и гадюшек, ползающих вокруг ясного чела, вдоль рамы, выглядывающих из-за отворотов пиджака, из-под небрежно так ослабленного узла строгого галстука и, наконец, копошащихся в глубокоуважаемой седине.

Мы молча смотрим на картину, вздыхаем, хвалим, не очень-то смотрим в глаза друг другу, а глаза портрета в эту минуту словно начинают смеяться надо мной. И снова моё малодушие не даёт сказать художнику и приведшим меня сюда, в подпольную мастерскую художника, друзьям, что всё не так, “всё не так, ребята!” Но штука-то в том, что надоела эта самокритика, всем хочется дела, хочется хотя бы обмануться на пять минут не водкою, а делом. Вот и обманываемся снова. Ох, и дорого этот самообман будет стоить!

А что делать? Бросать проклятую столицу, распахивать широким жестом заснеженные калитки, мять жёлтые цветы, оставляя чёрные следы на дворе прекрасных Ярославен?

Прости меня, Мария. Ты знаешь, что ты у меня одна друг, одна мой заветный собеседник.

С наступающим медленно, но верно Новым годом! Вдруг встретим его вместе — чем чёрт не шутит?

Твой Ив. Лозовой.

Дорогой Иван!

Видела тебя по телевизору, крупным портретом, на митинге, не поняла — каком, поздно включила. Увидела и обрадовалась, такое оказалось родное лицо, знакомый взгляд. Я даже не ожидала, что так остро почувствую. На экране уже всё сменилось, что-то говорил диктор, а я всё смотрела на экран, не видя и не слыша, для меня всё продолжался тот кадр. Очнулась только тогда, как стали говорить о погоде в Москве.

А у нас мороз. На несколько дней я оставила свой дом, чтоб выморозить тараканов. У нас такая договорённость с соседями, они тоже; иначе насекомые все переползают на тёплую половину. А так уходят, куда — не знаю. Живу у сестры. Сейчас все ушли, я села у замёрзшего, покрытого ледяными узорами окна и решила написать. Вдруг, думаю, и моему другу несладко, он получит моё письмишко, обрадуется. Может, решит на масленицу к нам погостить? На улице скрип да скрип. Не слышно ни собак, ни птиц, только в вентиляционных трубах голуби воркуют себе, как весной.

Твой любимый пивной ларёк наконец-то закрылся — нет желающих. В небольшой квартире блочного дома хрущобы холодно. Хорошо ещё, что есть горячая вода, иногда еле тёплая, я набрала полную ванну, от неё тепло идёт вместе с паром, и с кухни, где горят все газовые горелки. Не то, что на юге, где если холодно в комнате, то надо что? Открыть окно! Скоро придёт из школы Олюня.

Вчера вечером я шла пешком от своего дома под звёздным небом и подумала, что их днём не видно, а они всё равно есть над нами так же точно.

Не так ли и жизнь после смерти, бессмертие души, или наоборот — ад где-то под ногами. Ведь глубоко под этим снегом, в земле горит, как солнце, огонь, а мы не знаем, не помним об этом. Где-то есть ты, совсем недалеко, в ту же минуту дышишь тем же воздухом, и бьётся твоё сердечко. А вот сейчас ты читаешь мои строки, и в ответ стучит моё сердце, шепчет тебе: приезжай, я жду!

Твоя Мария.

Милая моя Мария! Здравствуй!

Странные вещи происходят у нас в государстве вместе с гласностью и неизвестно чего ускорением, всё более обвал напоминающим. Вроде бы так долго мы желали свободы, а когда она вроде бы приходит, то с нею приходит тревога. Знакомый депутат, лётчик военный, рассказывал, как взрывали в Капустином Яре под Астраханью ракеты, и как америкашки смеялись при этом от восторга, а наши дяди плакали. А чего плакать-то? Они ещё, того и гляди, стреляться начнут, вместо того, чтобы стрелять. Горбачёв — это же волк позорный в овечьей шкуре. Неужели купили?

Наверное — запантажировали, нельзя же свою страну, свой народ так продавать! Никогда я не верил этим комсомольским перевёртышам, нет у них ничего за душой. Тогда уж мне, милая Мария, больше по душе какой-нибудь Джугашвили, запрещающий аборты.

Пишу тебе из города Нефтекамска, это Башкирия, а как ныне тут говорят — Башкортостан. Местный партийный босс выдал сентенцию: “У нас тут треугольник — русские, башкиры и татары, а у треугольника все углы острые”. Если это он вчера придумал, то хорошо, а если повторяет, как попугай, то пошло, конечно, потому, что советская общность людей существует в виде российского этноса со своим особым, общим для всех в чём-то мировоззрением. Вот, например, ночью, до сна, мы ходили к пикетчикам на рельсы. Пикетируют строительство атомной станции, жгут костры, пьют водку и поют песни — татарские, башкирские и русские. И это ладно.

Но вот накануне мы были на фундаменте этой самой АЭС. На бетонных блоках кровавой аэрозолью крупными буквами: “КРОЕМ МАТОМ МИРНЫЙ АТОМ!” Смешно. Но у меня вопрос: кто разрешает пускать таких разгильдяев, как я сотоварищи, на объект? Ничего ведь не стоит в нынешнем положении дел подложить бомбочку с часовым механизмом лет этак на пять, когда не один, а уже парочка реакторов будут раскручены на всю катушку? И что тогда? Вот уж где, воистину, треугольнички! И не смешно. Рядом уже построен посёлок, почти город. Обречён на прозябание в безработице и нищете. Перепрофилировать станцию, кажется, невозможно. На улицах полно детей, играют в свои игры, пока мамы стоят в долгих очередях за едой. Мужики слоняются, шатаются трезвые, но с обезумевшими глазами: куда идти, что делать? Вокруг в непаханных полях, которые они никогда не учились обрабатывать, там и сям стоят и кланяются мамоне в пояс без усталости нефтяные качки на скважинах.

А рядом село Николо-Берёзовское, на самом берегу красавицы Камы, в которую, по местным представлениям, впадает Волга. Как чудо, вдруг из-за холма, из-за поворота появляется в два ряда улица ладных крепышей, кирпичик к кирпичику, купецких особняков, грустно темнеющих глазами-окнами, беззвучно поющими или кричащими без звука отверстыми ртами дверных проёмов.

Никогда я не говорил, что Россия пропала или погибла, она погибнет не раньше конца света, то есть вместе со всеми лилипутами и мышами.

Один художник, он умер прошлым летом, любил, помнится, приговаривать: не надо никакой войны, никаких нейтронных бомб, они нас джинсами забомбят. Тогда появилась пепси-кола. Честно говоря, люблю джинсы, всегда любил, добротная крестьянская одежда. Да и я в ней себя как-то повернее чувствую, стройнее. И ничуть не сомневаюсь, что когда-то её изобрели в России, а те удачно переняли со свойственной им коммерческой жилкой. В одном столичном вузе преподаватель гражданской обороны, отставник, сделал внушение студенту, пришедшему на занятия в джинсах: “Почему вы,

студент Сидоров, являетесь на занятия по ГО в штанах потенциального противника?”

Есть в Господине Великом Новгороде писатель Дмитрий Иванович Балашов, одевающийся всегда по-русски, в льняную красную рубаху и сапоги, и ничего. Говорят, что ему это идёт, а я считаю, что нет, не это, а он их всех сделал, победил то есть, прежде себя самого победив, и неважно, что он такой один, это всё равно на бесконечное количество порядков больше нуля.

Вернувшись вечером вчера в гостиницу, мы узнали, что в наше отсутствие из наших двух номеров “полулюкс” наши вещи были взяты без всякого уведомления и перенесены в самый худший четырёхместный номер в полу-подвале, где и были свалены в одну кучу на полу. Объясняю, что действие происходит в самой лучшей закрытой гостинице города, гостинице райкома и райсовета. Это при том, что на столах обоих полулюксов были разложены наши бумаги, деньги, документы и прочее, не считая бытовых мелочей.

Сознаюсь, мы были немного “на взводе” после братания с пикетчиками на подъездных путях к АЭС. Естественно, стали возмущаться, глаза закатывать и руки заламывать. Консьержка, здоровая молодая бабища, как будто только этого и ждала. Заплакав с лёгкостью необыкновенной, она заявила, что вызовет охрану, и заперлась от нас в своей каморке за стойкой, где оказался городской или местный телефон. Ждали ментов, приехали бандиты. Нас трое, их не меньше двенадцати на трёх “девятках”, разношёрстные, но все чистые урки, один даже ещё не оброс после того, как откинулся с зоны. Он с ходу раскровянил губу одному из наших. Всем вывернули руки, при этом этажность мата была выше казарменной. Консьержка, жаловавшаяся тут же им на то, что мы оскорбили её нежный слух, при звуках их мата сияла, как новенький рубль. Это прелюдия к чувству нового. Скромненько так в ту же каморку за стойкой выпыл человек, и нас, которые не окривленные, пригласил туда же. Он, правда, сидел на единственном стуле, а мы стояли. И, путая надежи, спросил, зачем мы шумели? Мы объяснили.

— Я купил эту гостиницу, — сказал он.

В его лице при этом ничего не изменилось, то есть он не интересовался нашей реакцией, он ждал, пока до нас дойдёт. В этом было главное: пробил их час; награбленное, накопленное в процентах золотишко теперь можно было потихоньку обнажать, как клыки, прикрытые фиксами. Надо было совершить все революции, войны и перестройки, чтобы физически изничтожить всех своих и привести к власти такого уroda. Мы проиграли этот век, Мария. И может быть, это справедливо, ведь царство Его не от мира сего.

Абсолютно не верю ни единому слову Горбачёва, и если хочешь знать, то и Ельцина. Это яблоки с одной яблони. Подожди немного, и ты всё увидишь. Пройдёт десять лет, и ты всё так же будешь топить сырым хворостом свою разваливающуюся печку и копать картошку на задах огорода, и получать мои длинные письма несостоявшегося террориста. Почему у нас, русских, совсем мало террористов в истории? Вот у Ленина брат был террорист, и поэтому маменькин сынок Володя истопил нам кровавую баню.

На Каме прошёл ледоход. На Руси великой Великий пост, я ем хлеб и молдавскую кабачковую икру из стеклянных банок. Пишут, что у них все поля заражены пестицидами. Когда мы с тобой будем жить вместе, ты будешь жарить мне картошку с луком на постном масле на чугунной сковородке, которая досталась тебе от бабушки в качестве всего наследства. Потом наш дом подожгут урки, купленные за ящик портвейна, и мы с тобой отправимся к праотцу Аврааму.

По поводу митинга. На митинги не хожу, но мы попали в кадр в ДК Горбунова на вечере против пьянства. Докладываю: вечер был шибко патриотический, на сценическом заднике — зелёный змий пожирал Георгия вместе с конём. Профессор Углов говорил, что славянских детей приучают к алкоголю через кефир. Затем выступил совсем древний старичок академик Черкасский, сказавший, что надо ввести сухой закон, как это сделал царь. Под бурную овацию он чуть не упал, сходя со сцены, и попал в руки чекистов. Им он чистосердечно признался, что от волнения оговорился, а хотел сказать вместо “царь” — Ленин: “как это сделал Ленин”. Пока они объяс-

нялись, некто Васильев из “Памяти” показывал слайды генплана Москвы, на которых доказывал, что столицу России превращают в плане в шестиконечную звезду Давида. Тогда некто с балкона взвизгнул: “Васильев, вы фашист, и скоро будете вешать детей!” — после чего невидимые ножки затоптали по балкону у нас над головой, как копытца. Говорят, его задержали, ничего не видел, ничего не знаю, не состоялся.

Твой Лозовой.

P.S. Мне так нравится твоя фамилия Иноземцева, особенно даже не смысл, а звук. А это “з” в твоей фамилии и в моей — словно родные. И “ц” очень волнует, целую.

Здравствуй, дорогой Иван!

Я не сгорела, не угорела и не растаяла, хотя эти дни было так солнечно и тепло, что казалось, моя избушка поплывёт, как лодка, в поле. Теперь у меня начинаются огородные заботы. Возможно, соберусь в Москву за сенами, только, пожалуйста, не остри по этому поводу, я в прямом смысле слова.

В подвале стоит вода на полтора метра, никогда ещё такой не было. Видимо, из-за того, что рядом построили новый тюремный корпус, производственный, и перерезали в земле какую-нибудь водяную жилу. Капуста, картошка, морковка — почти всё погибло, даже не могу найти с фонариком заветную бутылку французского, только этикетка плавает. Так я этикетку высушила и приклеила к стенке.

Вместе с тем задумала хорошее дело. Я решила научиться плести кружева, у нас, если помнишь, этот традиционный народный промысел очень ещё распространён. О летнюю пору можно видеть, как женщины, в основном, конечно, бабушки, сидят в своих двориках у своих дверей или окошек первого этажа в окружении цветов палисадника и сосредоточенно перебирают пальцами, переставляя булабочки на большом валике-подставке, и весело так постукивают деревянными коклюшками. Да ты же сам знаешь, я только напомним, скоро уж почитай год, как не был у нас.

Сегодня уже Страстная, будем говеть и готовиться к Пасхе. Надо всё помыть: и пол, и окна, — повешу новые занавески, испеку в печке кулич.

Жду, М.

Милая моя Мария!

Дошёл до Берлина. Причём не пишу — до какого, потому что был в обоих. Во-первых, привёз тебе подарки: карманный аудиоплеер с наушниками и косметический набор всяких мазилок, на большее фантазии не хватило, зато явлюсь к тебе весь в белом. Меня командировали в Восточный, но ситуация в Германии такая фантастическая, что там на месте мне сделали визу в Западный. Граница сейчас представляет собой нечто вроде турникета московского метро в час пик, в обе стороны валит восторженная толпа, и честные немцы-пограничники даже ленятся толком посмотреть в паспорт и сличить твою физиономию с фотографией.

Мой западный друг Фриц, когда-то представлявшийся мне журналистом, не пользующимся автомобилем из принципа, оказался нищим вечным студентом, у которого дома отключили телефон за неуплату. В метро он ездит “зайцем”, стоя всю дорогу у дверей, и на остановках по-собачьи внимательно высматривает контролёров. Вход в западноберлинском метро свободный, а штрафы очень велики. При этом ситуация такова, что в Восточном на цену билета западного метро мой бедный Фриц может пообедать от пуза в кафе или ресторане. Жаль, если скоро ГДР станет ФРГ, ибо если бы эта ситуация продлилась сколько-нибудь долго, они все бы сагитировались своими желудками за социализм.

Бетонную стену сломали кое-где, но мне ещё досталось, причём бесплатно, на сувениры то, что на Александрицац продаётся как огурцы: три больших или пять маленьких — за 5 марок. Фриц сказал (мы общаемся на ужасном английском), что в первые недели “свободы” девушки из восточной части отдавались за те же злосчастные 5 ДМ. Я, говорит, не могу их понять, как это можно? Мол, пять — это мало очень. При всём его благородстве получает-



ся, что просто цена маленькая... В самом неожиданном месте можно встретить русскую икону, за 5–7 тысяч ДМ. Думаю, это средняя цена. Однажды видел образ Казанской в витрине... продовольственного магазина. Мне кажется, что это даже юридически некорректно. Хотя в стране, где рядом настежь распахнуты двери “клуба” для геев...

Со мной будет беседа на местном ТВ, и они по этому случаю даже решили меня постричь и одеть на свой вкус: немцы! Ко мне приставлен переводчик. Он боится, что новые власти посадят его за сотрудничество с КГБ. Горбачёв, сказал он мне, сдал Хоннекера, и многие офицеры и просто “честные люди” стреляются уже. Процесс пошёл. Интересно, спрашивает, хватит ли ума у Шеварднадзе взять с Запада компенсацию за вывод войск и стратегическое разоружение? Как будто тут в уме дело! И не от ума-то ли горе, отвечаю, совести-то если нет?.. Ломать — не строить. Не понимает.

Как твои занятия с кружевками? Нашлась ли бутылка французского? Когда к нам в первопрестольную? С боевым приветом, старшина запаса Иван Лозовой.

Здравствуй, Иван!

Как тяжело жить без любви! Хуже, чем без веры и надежды, ведь Бог — это любовь, правда? Помнишь, как ты толковал мне об этом на берегу Сосны? Я всё время плачу, даже в солнце, а когда идёт дождь, то просто реву, и лить слёзы вместе с дождём, смотреть, как стекают по стеклу его чистые капельки, — мне много легче.

Вчера я была свидетелем разговора трёх пожилых людей у водопроводной колонки. Я шла другой стороной улицы, но нарочно остановилась послушать их разговор о жизни в немецкой оккупации — ведь ты знаешь, Ваня, что тут были немцы? Они говорили об этом так, будто это было вчера. Вспоминали, как детьми были голодные, ели лебеду (ты, наверное, не знаешь, что такое лебеда?), и как голодные дети пошли, отчаявшись, искать хоть какой еды, и случайно напоролись на военный объект, и их там схватили, и — дальше было плохо слышно из-за шума воды и вёдер и из-за того, что они все трое говорили одновременно. Их, кажется, нескольких расстреляли после... Что ж, я тоже хочу из западной части нашего города в восточную (ибо на оба конца требуется не больше часу) в поисках лучшей жизни. Хоть бы меня кто арестовал и посадил за тунеядство или, ещё лучше, расстрелял.

Кружевные мои дела потихоньку подвигаются, но медленно. Кстати, валик, на котором плетётся кружево, по-старинному называли здесь кутузом, а фамилия одного бывшего афганца, с которым меня познакомила сестра, Кутузов. Забавно, правда? Он починил мне крыльечко, а то оно всё развалилось. Его берут работать в милицию. Гена откуда-то слышал, что Горбачёв хочет ввести в стране военное положение и поэтому собирается повысить зарплату военнослужащим вдвое. Но Гена после Афгана не хочет идти в армию, хотя с его фамилией это, конечно, более прилично, чем быть милиционером. Впрочем, если так рассуждать, то с моей фамилией мне следовало бы жить хотя бы в Шпreeвальде, да?

Храню бутылку твою и свою верность. До скорой встречи, ведь ты обещал приехать летом,

Мария.

Милая Мария!

Ты бы меня, верно, теперь не узнала. Я почернел лицом, как арап, пребывая постоянно на нещадном московском солнце, ибо теперь я уличный книготорговец в самом прямом смысле слова: стою за лотком на улице Горького и торгую моими первыми книжками. Меня сподобил на это приятель, который уехал до осени халтурить куда-то в Сибирь, а мне дал своё место. Зарабатываю неплохо и даже хорошо, наконец-то я могу кое-чем помочь семье и, возможно, тебе, если это не успеет сделать первым твой милиционер с фельдмаршальской фамилией.

Книги для продажи стараюсь подбирать не все подряд, потому что идёт много дряни вплоть до “крутой порнушки” и всякой русофобии под видом

критики режима. Черти снова перекрашиваются, ну, да мы уж говорили... Торговля книги православные, исторические, детские. Зато вокруг меня торговля наподобие той, что на Александрплац, еле сдерживаюсь, а иногда и нет... Ну, мне пора, надо успеть занять место, пока его не занял армянин с обезьяной или азер с марихуаной из-под петрушки.

Целую тебя крепко и нежно, привет бабе Насте и дяде Гене.  
Твой Иван.

Дорогой Иван Осипович!

Какое это славное было время, когда мы были на "Вы"! Никогда не забуду Ваших глаз, как они смотрели на меня, то ли отражая мерцающий свет праздничных свечей в моей сумрачной горнице, то ли посверкивая внутренним огнём растревоженной Вашей души. Романтический флёр рассеялся после Вашего недавнего визита, от которого я ещё не вполне оправилась. Ты говорил такие страшные несправедливые вещи и с таким свирепым видом, так больно хватал меня за руки, что я всерьёз в те минуты опасалась за свою ли, твою ли, ещё ли чью нечаянную жизнь. Вообрази, что тогда вошёл бы кто-нибудь из гостей и стал бы спорить с тобой на одну из твоих вечных тем, которым нет уже разрешения в этом веке и на этой земле? Да ты бы просто задушил или разорвал бы его голыми руками. Честное слово, я не избалована судьбой, мне доводилось быть свидетелем самых ужасных пьяных драк и дикой поножовщины на наших плохо освещённых улочках, но это было нечто особенное.

Прости, что я напоминаю тебе об этом, но поверь, что мне действительно беспокоит о тебе, я боюсь, что ты просто погибнешь. Мне не хотелось бы услышать о тебе такую страшную новость и ещё думать, что являюсь тому невольной косвенной причиной. Ты же плакал и умолял, чтобы я родила тебе сына и немедленно, но что жить со мной ты не можешь. Ты помнишь это? И что ты вообще не можешь жить с женой семейной жизнью, и что ты вообще жить не можешь. Или что ты вообще не можешь жить с женщиной, понять что-либо толком окончательно было невозможно!

Миленький ты мой, я-то чем тебе виновата? Я так долго и терпеливо весь год ждала твоего приезда, готовилась, как могла, встретить высокого гостя, а ты свалился как снег на голову со своим ужасным, совершенно невозможным товарищем, оба пьяные, полубезумные, грязные, пролётом — как какие-то лесные звери, испортили всем праздник, сломали дверь, испугали детей. Даже собака, свирепая овчарка, сбежала, никем не замеченная, и нашлась лишь на другой день в соседнем подъезде, вся дрожащая и с вытаращенными от пережитого потрясения глазницами.

Ванечка! Остановись, я люблю тебя по-прежнему, но... уже не зову тебя, как Бог даст, как уж там по судьбе нам будет? Видно, и вправду тебе никто не нужен, и твоя бывшая жена в этом права. Кстати сказать, Геннадий Львович Кутузов — очень порядочный человек, хороший семьянин, у него прекрасная супруга, хозяйка хорошая, и очаровательная дочурка, тоже Маша. Глупо ненавидеть человека и ревновать так бешено только за то, что он починил крыльцо одинокой беспомощной женщине, и обзывать его при всех ментом поганым... Это просто чудо, что всё обошлось, и его друзья-афганцы вовремя увели вас и посадили в машину, в другой раз вам этого не простят.

Хватит о грустном, я очень надеюсь, что ты сам во всём раскаиваешься и казнишь себя. За сим прощаюсь, с уважением, Ваша Мария Ивановна Иноземцева. Пиши, и вообще — не скучай, будь мужчиной.

Милая Мария!

Так рад, так рад я всегда, когда получаю твои драгоценные моему сердцу письма, что кажется, нет в мире ничего роднее этих аккуратных строчек плетёных кружевами округлых буковок, и душа моя летит в твой славный городок, и только брэнное моё дебелие тело, отягчённое, как пудовыми гириями, смертными постыдными грехами моими, лежит, сравнявшись с грязью асфальта, бесчувственно и бессмысленно.

Мария! Спасибо тебе за добрые твои слова и за горькие, как полынный настой, но лечащие так быстро в самую точку. Прости, что не ответил тебе сразу, но поверь, долго носил письмо твоё с собой и плакал, когда перечитывал.

Я уже не продаю книги, не пишу книг, а только читаю оные, но ведь должен же быть в мире хоть один человек, который бы читал хоть что-нибудь из моря всего написанного. Мнится мне, что все прочие бегут без оглядки толпами навстречу друг другу или стоят в очередях, зловеще шурша газетами.

Ты веришь и ждёшь, что придёт принц и преподнесёт тебе — пусть не на серебряном блюде — пару волшебных туфельек, на которых можно бегать и взлетать, не касаясь разбитой колеи, но — принц даже не знает размера твоей ножки, не говоря уж о том, что у него попросту нет денег — какая проза!

Мария! Так радостно мне повторять твоё священное имя! Почему-то чувствую я, что когда-нибудь мы будем вместе, несмотря ни на какие преграды и обстоятельства, вместе совсем навек, до слияния души в одно целое! Неужели же это произойдёт только в мире ином?!

Пиши, привет старушке и Кутузову. Думаю, скоро у него будет работы не меньше, чем в Афгане. Что-то будет. Одни плачут, другие сжимают кулаки. Но ничего они с нами не удумают, фиг вам!

Целую, Иван.

Здравствуй, Иван! Высокий гость!

Поздравляю тебя со Старым Новым годом. Купила нам с тобой в подарок две китайские фарфоровые чашки для чая с крышечками, с синими драконами по белому фону, как гжель, по случаю, по 40 рублей за чашку. Откуда деньги — не спрашивай, но не за кружево. Мои первые кружевные блины пока все комом, руки не слушаются, потому, наверное, что нет на сердце покоя. Одна чашка у меня вывалилась из рук, и краешек откололся. Значит, решила я, не судьба нам и в этом году быть вместе. Мне, знаешь, очень холодно на душе, хочется просто человеческого тепла, если не счастья. Прости, но я больше уже не жду тебя. Ты — ветер, живой, но неуловимый в мои паруса. Видно, не так я мила тебе, как ты говоришь. К чему обманываться, будем друзьями. Сижу, смотрю, подперев ладонью щёку, на синего дракона на чашке и не думаю, а вижу, что людей разделяет взгляд на мир. Вот одни поклоняются дракону, а другие солнцу, например, и это вроде бы малость, но ведь от этой разницы не рождаются дети, например. Ведь так стало мало рождаться детей у нас в городе, да и по всей стране, наверное. Говорят, что из-за нищеты. Нет, из-за того, что все думают или верят по-разному.

Я взяла бы девочку из детского дома, но мне не дадут. Такие надо справки и поручительства, что мне не дадут при моём жилище и зарплате. Мой домик стоит, ты знаешь, прямо под ЛЭП; говорят, что это вредно для здоровья, что вообще не должно быть дома под ЛЭП, но ведь я-то живу.

Скажи, что это за власть такая народная, при которой, как мыши при научном эксперименте, живут люди? Сколько будут ещё ставить над нами опыты? Ненавижу всё, что сейчас делает “Огонёк”, всё это оплёвывание всех и вся элекрид, потому что это ни к чему хорошему не приведёт, но ведь и так, под электрическим полем тоже жить больше нельзя. Неужели же никогда в России не будут жить по-русски? Гласность, перестройка, ускорение, рынок, снова одни лозунги, а что лучше-то стало? Сосед дядя Егор телевизор посмотрит, выпьет и плачет, ему обидно: за что воевал? Он весь израненный, живёт хуже меня, от гуманитарной помощи из Германии отказался. Я бы не отказалась, в тюрьму бы отнесла, но я не воевала, не могу знать, что чувствует он, у него поубивали всех его сверстников из родной деревни.

И в партии были честные, и в церкви есть луны, я так думаю. Бог им всем судья. И я никого не сужу, я просто не знаю, как мне жить, сил нет у меня ни на что. Предлагают место в гостинице горничной, но ведь это позор, там сплошь один *кавказ*, мне при одной мысли дурно становится. Я бы

лучше в тюрьму пошла, не берут, смешно сказать, из-за того, что мой дом рядом с тюрьмой стоит, что я могу помочь им подкоп сделать. По инструкции, говорят, не положено. Хорошо, что кто-то меня ещё боится, что я такая могучая, способная на подвиги. Неужели у меня вид такой?

Кутузов сказал, что если ты ещё вот так появишься, как в прошлый раз, то он тебя руками разорвёт надвое. Так что ты уж лучше без предупреждения не приезжай.

Мария.

Милая Мария!

Как ты там? После последнего твоего грозного письма я и не знал, что делать: не писать тебе больше вовсе или ехать напрямую “без предупреждений”? В итоге я ввязался в новую авантюру и вместе с рок-музыкантами оказался в Чернобыле. Такой вот компот. В качестве кого, угадай? Правильно, в качестве идиота, рабочего сцены. Сбивал задники для выступлений, разгружал и устанавливал аппаратуру, снова грузил... Денег не заработал, зато хлебнул радиации (наверное). Она там как-то странно — пятнами. В Могилёве, например, улица чистая, да, а на дворе всю землю снимают и увозят, на ней всё запредельные сверхнормы, зашкаливает. После одной поездки я вообще почувствовал, что схожу с ума, понимаешь? Стал на балконе гостиницы одежду вытряхивать, но ведь это же не пыль и даже не вши. Как ты эту частицу плутония, допустим, вытряхнешь? А её, заразы, одной достаточно, если в тебя попадёт, чтоб ты инвалидом сделался. Принял душ, обсох, надо одеваться, а я не могу! Ну, там достал кое-что чистое, но ботинки-то те же, и куртка... скажи, как тут было не выпить?

Были в мёртвой деревне, в выселенной. Двери, окна — всё раскрыто настезь, на стенах фотографии. Иконки иногда дешёвенькие такие из бумаги. Вырезки из “Смены” прямо под иконками, даже кое-кого из своих знакомых увидел. Ему бы на улице подойти и в глаза заглянуть поприспальнее, а крестьяне, чистые души, его аккуратно, с полями, вырезают ножничками и рядом с иконами клеят в красном углу. Застрелиться! Конечно, с таким по-детски наивным народом проще, чем с индейцами, справиться можно при умелом подходе, голыми руками! Сами будут верёвки приносить для виселицы.

Топчешься в оставленном холодном жилище, хрустишь битым стеклом, а в голове бедовой, как счётчик, щёлкает, плюсует “бэры” или миллирентгены. И ни собак, ни кошек — всё тихо. Детские игрушки, коляска там или санки. Колодец заколочен отравленный, как в войну. Несчастная эта Белоруссия, ей-то за что?

А может, и вправду — это война, только *холодная*, которая страшнее всякой *горячей*, как эта чёртова радиация страшнее всякой бомбёжки?.. Попался мне там один нормальный телеоператор на съёмках рок-концерта (а они эти концерты к пятилетнему юбилею взрыва приурочили и вроде против строительства атомных станций, хотя их музыка — это всё равно, что радиация в культуре), так он, короче, работал раньше по проблеме переброски северных рек на юг. Когда, говорит, учёные и писатели своими выступлениями добились, что “партия и правительство” вынуждены были послать проект переброски на доработку, то этот самый взрыв в Чернобыле и случился. День в день, говорит, ну, может, с разницей в неделю. Ты понимаешь, к чему он гнёт, нет? А я понимаю. Приговорили нас стоять на коленях, а когда мы разогнулись, то нас — по голове! Очень мило.

Ну, что вот они Сталина всё поносят и мажут? Ведь это они хотят всю нашу историю в 20-м веке перечеркнуть. Мол, они с коммунизмом борются. Ни черта подобного: немцы, вон, в Западном Берлине по улице Карла Маркса шастают и не обижаются. Им Россию уничтожить охота (сами-то они её от Украины и Белоруссии не отличают), им наплевать — какой тут строй, лишь бы нам плохо жилось да мало рожалось.

По Минску демонстрация идёт, на плакатах у них всё черепа, сами в противогазах, как тогда в Астрахани (перезжают они, что ли, из города в город?), и флаги белые с красным — это, значит, за отделение от нас. А из церкви ихней главной в это время пары выходят свадебные после венчания.

И вот они смешиваются с демонстрантами. Трезвон и набат. И те, и другие растеряны. Невесты чуть не режут от страха, и тем неловко, и только одни хохлы-западенцы, националистическая группка такая, стоят, ржут, чего-то там про москалей выкрикивают, как больные, честное слово, и всё свои семечки лузгают, шоб им повывлазлю!

Не туда бьёте, ребята!

Потом рок-концерт. Подростки просто отмороженные, а за кулисами, я же — представитель пролетариата, вижу: кто ширяется, кто травку курит.

Я не знаю, что дальше будет, и “до чего мы доживаем?”, как одна сказала. А другой ей в ответ: “Прижали нас до самого некуда”. Вот это точно: доживаем до самого некуда. Всё, привет Гене!

Твой Иван.

Милая моя Мария! Здравствуй!

От тебя ничего нет. Наверное, чем-то я рассердил Вас, чем? А, знаю, ты теперь не хочешь общаться с “чернобыльцем”, боишься хватануть радиации.

Кстати, я не потому не еду, что кого-то боюсь, а потому, что ты не пишешь, а мне всё недосуг. Чем занят? А пьесу пишу, трагикомедию в трёх действиях: 1) перестройка, 2) перекличка, 3) перестрелка. Название: “Ускорение”. Чего ускорение? Всякого маразма. Обложку паспорта справил себе новую, картонную, самопал с Арбата. Фон красный, а вместо герба СССР — двуглавый орёл. И ничего, даже менты не шарахаются. Скажешь, дитё я? Да. Ты бы меня усыновила, что ли? Хотя нет, я же ещё не сирота... Как твоя бабка, как твой кутуз? В смысле — кружева?

Работаю в церкви, альфрейщиком. В чём-то это сродни тому, что делал твой отец. Об этом в другой раз. Посылаю это письмо заказным. Если не ответишь — приеду. Предупреждаю, так сказать.

Можно тебя поцеловать? Ив. Лозовой.

Дорогой Иван, здравствуй!

Извини, что долго не писала, не отвечала. Я, конечно, была не права. Но мне было очень тяжело, и я не знала — как тебе объяснить всё, что со мной происходит. Но сейчас всё уже позади. Я думала почему-то, что ты сам догадаешься, ты всегда был такой чуткий.

Конечно, если хочешь и можешь, то заезжай, я буду рада видеть тебя, но мне в моём нынешнем положении будет трудно принять тебя и оказывать тебе должное внимание. Говорю обо всём спокойно, потому что я должна теперь заботиться не только о себе самой.

Кстати, если ты вдруг правда соберёшься, то буду тебе очень признательна, если захватишь хоть что-нибудь. В наших магазинах, как назло, исчезло абсолютно всё, нет даже марли, не говоря уж о ползунках, или материале на пелёнки, байки и прочего. К тому же очень у меня плохо с деньгами, совсем то есть плохо. То есть с ними хорошо — без них плохо, без проклятых.

Если тебе всё это в тягость, не переживай, всё уладится как-нибудь. Прости, что так вышло, я хотела иначе. Бабье дело, не обращай внимания, нам от этого легче.

Целую крепко, Мария.

Милая Мария!

Как ты меня чувствуешь? Я тебя чувствую плохо, потому что я и себя-то почти не чувствую. А плохо чувствую я нас потому, что я плохо чувствую весь наш народ. Ты, уже, конечно, знаешь, о чём я говорю. Теперь я брожу не от памятника к памятнику по бульварам, а от танка к танку и от БТРа к БМП. На “броню” сидят русоголовые мальчишки и без всякой охоты курят одну за другой разносортные сигаретки, которые охотно предлагает им разношерстная толпа вместе с глупыми и жестокими вопросами: “Неужели вы будете стрелять в людей?” и пр. Мальчишки ни на кого стараются не смотреть, ничего не отвечать, поэтому и курят, сосут ядовитый дым опухшими губами и сплёвывают себе на сапог, потому что больше плюнуть некуда. Метро всё оклеено отлично отредактированными и классно отпечатанными тек-

стами, которые появились чуть ли не одновременно с заявлением Комитета. Даже кажется, что это сделано демонстративно: посмотрите, кто в вашей стране хозяин и какое правительство направляет процесс. Уверен, что Горбачёв здесь замешан на одной из ролей.

Сегодня с утра проливной дождь, и я сижу дома у телевизора. Вчера вечером на Кутузовском я понял, какой я трус. Строили баррикаду поперёк проспекта перед мостом, чтобы остановить танки. Без особого любопытства я подошёл ближе, увидел всё те же, полные какого-то “вообще” энтузиазма лица соотечественников, желающих снова быть обманутыми, и повернул к Киевскому метро. В этот момент у меня за спиной раздался оглушительный хлопок, ноги подкосились в коленях, прошиб холодный пот, я с трепетом обернулся, не в силах бежать... Оказалось, упал навзничь пустой мусорный бак. Оказалось, что на героя я не готов. Пишу тебе об этом без стыда, потому что уверен, что в другой, настоящей ситуации, когда будет — за что, я не струшу, просто это такая нервная, наэлектризованная атмосфера. Может быть, работает с крыш посольств психотропное оружие?

Конечно, этот марксизм-ленинизм всем осточертел, мягко говоря, но ведь надоел-то, прежде всего, своим кощунственным обманом, а на смелу ему сегодня у нас на глазах идёт такая же ложь, меняющая хамелеоном цвета.

Розанов писал, что царская Россия развалилась в два, самое большое — в три дня. Похоже, что так же разваливается и “советская”. Пишу это слово в кавычках, потому что советской, то есть народной власти в России не было и пяти минут, даже при Сталине. Но почему же они разваливаются? Потому что русский народ не верит ни в официальную церковь, ни в официальную идеологию. Он своедумен, анархичен и любит сильную власть, любит даже тогда, когда ненавидит её, только называет свою затаённую любовь уважением: “Ты меня уважаешь?..”

Ты меня уважаешь? Ты меня любишь? Я тебя — да. Не спрашиваю, кто отец ребёнка. Если родится сын, то отцом готов стать я. Если девочка, боюсь, что не смогу её правильно воспитать. Опять трус. Мария, если честно, я очень скучаю по тебе и, может быть, ещё больше — по твоему миру. Желаю вам доброго здоровья. Плюнь на всё и ешь больше яблок, ягод и огурцов.

Целую, Иван.

Дорогой Иван!

За меня сильно не переживай, я чувствую, что выдохну. Даже наоборот, в моём теперешнем “обременённом” состоянии сил прибавилось. Тебе желаю трезвости ума. Не делай лишних шагов и без дела не слоняйся, лучше посиди с книгой. Спасибо за добрые слова. Надеюсь, что будет дочь, с сыном не знаю, как справлюсь. Коммунизма мне не жаль, жаль советской власти, которой, если верить тебе, не было.

Целую, твоя М.

Милая моя Мария!

Такая стоит светлая солнечная сухая осень! У вас во дворах, наверное, пахнет всюю антоновскими яблоками, как в садах, и так хочется побыть с тобой рядом, утешить, подбодрить тебя, а главное, что я уже совсем было собрался сделать это (и сделаю скоро наверняка, не сомневайся и не улыбайся надо мной!), но — произошли события, которые задержали меня в столице (я пишу “столица” так, словно уже живу в провинции). Убит Тальков, я знал его. Помнишь, рассказывал тебе про мои связи с рок-группами, про Минск и т. д. Короче, его нет.

И всё это случилось не вдруг. Очень странная история принятия Игоря в члены сомнительного ордена, Джуна, все эти его белые рубахи (“умершу платье”, как твоя бабушка говорила).

Ой, обзавёлся бы газовым пистолетом, но это, знаешь, хорошо для подростков, или против собак, когда бежишь трусцой по Тверскому бульвару. Короче, нет его. Длиннющая очередь, общественность в оцеплении милиции,

цветы, притихшая молодёжь, студенты, школьники, дети, пенсионеры, военные. Куб Дворца молодёжи на Фрунзенской — бетонный крематорий. Ничего невозможно было узнать заранее официальным путём: где панихида, где похороны? Звонили по всем инстанциям, редакциям, информационным службам, никто — ничего! С утра ребята взяли такси и наугад стали крутить по городу. Нашли, в затемнённом зале звучат вполсилы его песни, а его нет. Вдова молодая и сын. Она с опущенной головой, лица не видно, а он, напротив, смотрит на всё живыми глазами, единственное светлое пятно во мраке, как лучик. Но что эти глаза могут сегодня понять? А мы — что можем сделать теперь (и что сможем завтра, вот главный вопрос). Зловещая стая встала возле и вертит вороньими клювами. Преступники, пришедшие на место преступления. Градский, правда, плакал, я видел. Говорят, Газманов знает, кто стрелял, но молчит. Что ж, его молчание будет щедро оплачено — славой, тиражами, загородной виллой, да и не ему одному. Все они теперь будут плясать свои “песни” (они их именно пляшут, а не поют) на костях гения. Ну, пусть не гения, а большого таланта, совестливого русского человека. Какая-то Азиза, какой-то Малахов из курганской братвы... По ТВ все тужатся доказать, что самый большой друг его был — Шляфман. При этом его только показывают. А он молчит, ни да, ни нет, лишь глазёнки бегают. Друг. Вспоминается фильм “Крёстный отец”: “Опасайся того, кто скажет тебе, что он друг”. Взяли и убили человека, среди белого дня, при всех, словно напоказ: смотрите все, чтоб неповадно было. Это же демонстрация силы!

Мария, милая Мария, прости, что сваливаю всё это на твою бедную голову. Но ты ведь сама убеждала меня, что я могу доверять тебе, как самому близкому, свои радости и печали, и что тебе это будет радостно. Не знаю, конечно, как это тебе в твоём теперешнем положении? Прости, забыл, что тебе теперь не до Талькова. Ладно, закругляюсь, про похороны не буду. Отпевали в церкви на Ваганьковском кладбище. Многие также клали цветы Высоцкому и Есенину. Да, теперь они братья навеки. “Память” и Д. Васильев делали вид, что они тут главные, пытались управлять толпой, наживали политический капитал. Говорят, что вроде бы Игорь участвовал в их последней публичной акции. Народу было очень много, и люди немного обезумели от давки. Шли по могилам. Вороны долго кружили огромной тучей над гробом и кричали, когда его опускали в могилу.

Прости!

Дорогой Иван!

Не знаю, когда бы теперь написала, если бы не Новый год. Меня отпустили на три дня домой, всё равно, говорят, никого не будет, а кто будет, то будет пьяный, уж тогда тебе лучше дома быть. Да я и сама насмотрелась на их порядки, и мне кажется, что если помирать, то лучше на своей печке. Ничего, соседи за стенкой, а если чего, до тюрьмы доползу, там круглосуточно. А не то пусть и пристрелят нас сразу, чтоб не мучиться долго.

Ты ничего лучше не мог придумать, как беременной бабе описывать убийства да похороны. Кланяюсь в пояс, хоть мне это и тяжело.

Идёт дождь, не звёздный, не серебряный, а самый обычный, тихий-тихий, будто ему самому неловко идти на предновогодний снег, что покрыл было все пути-дороги, поле до самой речки, кладбище, пограничную зону у тюрьмы, весь мой дворик, крышу и изукрасил ЛЭП, как ели, нитями-гирляндами. Да, ещё там у них в роддоме на каждом шагу надо платить. Вымогают деньги, а иначе ничего не приносят, ни еды, ни питья, ни лекарств, ни белья... Марля твоя лежит сложенная стопочкой, я всё перестирала, раскроила по-своему и прогладила утюжком, положила под ёлочку как подарок от тебя, новогодний.

Целую крепко, М.

Милая моя Мария!

Как видишь, пишу тебе с вашего почтамта. Искал тебя повсюду, кроме тюрьмы и кладбища. Ни в одном роддоме, ни в больнице, где есть родильное отделение, никаких Иноземцевых не обрёл. В милицию к Кутузову уж

не пошёл... Главное, что и соседей твоих не было, и сестры, никого, бывает же так! Вот уж никак не предполагал, что придётся уезжать восвояси ни с чем.

Столица мне стала мачеха, и жизни не даёт и от себя не отпускает... Наверное, ты где-нибудь в деревне. Наверное, уже живёт в этом мире твой ребёнок, и ты его уже любишь и называешь ласковым именем. Верю, что вы здоровы, так чувствую, молось. Ради Бога, сообщи мне на прежний адрес, мне передадут, два слова! Подарок — под крыльцом в полиэтилене в коробке. До встречи, пока!

Иван Л.

Дорогой Иван!

Спасибо за беспокойство... Как сам? Или женился, пока мы тут с Ванечкой на паперти стоим. Думаешь, шучу? Нет, в самом деле. Только ничего мне не подают, народ нищий весь стал. Нищенки посоветовали приходиться к празднику или к воскресенью хотя б. А я до воскресенья, может, и не доживу, околею с голоду, Ванюшке-то — хожу в молочную кухню, хоть и далеко, дышу свежим воздухом, после прогулки щёки полчася розовые. Короче, сначала кой-то дед шлюхой обозвал, это у церкви-то. Блаженный, наверное. Впрочем, я не обиделась, шлюха и есть, ребёнка прижила, советской властью не расписанная, демократами не венчанная. Затем подъехала мусорка; видать, Гене кто стукнул, что я тут отсвечиваю, замели и отвезли восвояси. А я уж было обрадовалась, думала — в кутузку везут, ан нет, не тут-то было, в родное стойло.

Чем ты там ещё занялся, горе моё, ехал бы уж сюда, калитку бы поправил, а я бы картошки отварила, и начали бы жизнь новую. Такого счастья, что ты в столице-мачехе ищешь, мы и тут найдём. Скажешь, пустилась баба во все тяжкие, да? А хоть бы и так. Мне всё равно, не сегодня — завтра смерть, конец приходит, худо мне, Ваня, совсем, если ещё не оженился, приезжай, а то и с молодой женой приезжай, я вам на печке постелю.

Твоя Мария.

P.S. Если можешь, пришли денег, в долг, немного, прости.

Мария, здравствуй!

Ты чего это, милая, мне такое пишешь, не пойму, всерьёз или в шутку? Ты это брось, пожалуйста. Выслал вам деньги, 500 рублей, больше на почте за раз не принимают почему-то. Завтра пошлю столько же, а там видно будет. Пишу стоя. Я в пикете у входа в “Останкино”, может, видела нас по телевизору? Никак не усвою, что у тебя его нет. Тут, правда, больше с красными флагами стоят, но я нет, я с Александром Невским стою, и надпись у меня: “Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!” Спрашивают: при чём здесь меч? А я отвечаю: при том! И весь сказ. Вообще-то тут всяко бывает.

Вчера я был в “Макдональдсе”, пригласили, и меня знаешь, что поразило? Наглость и убожество этой интервенции, прежде всего — эстетической. Словно в насмешку здесь выставлен полный набор всяких штампов — пальмы, парусники, гребешки синих волн, облачка в синем небе, такой же кич, нет, не для детей — для дебилов, как в советских столовых рисовали картинки светлой жизни при коммунизме, только с точностью до наоборот, и еда словно синтетическая, да таковая она и есть, особенно питьё, англичанки в пепси-колу свои золотые украшения на ночь опускают, чтоб ярче блестели, а пить не пьют, это я точно знаю, из первых уст. И — “музыка”, она скоро нас всех достанет. Уверен, что её нет в таком насильственном варианте ни в одной самой паршивой забегаловке Запада, будь он проклят. Боже мой! Я вспоминаю, как году этак в 84-м заехали мы в столовую на окраине Кинешмы. Веришь, не хотелось из неё уходить, такое всё было домашнее, румяное, ароматное, свежее и дешёвое — страсть! Женщины все ласковые, улыбочивые, просто мамки.

Теперь, пока мы торчим тут под Останкинской иглой дураки-дураками, умники приватизируют всё за бесценок, всё, что было нажито народом, а мы



снова — ничего, почему это? Обратная сторона медали вчерашнего антинародного строя. Не было, ещё раз тебе скажу, никакой советской власти, разве что для рекламы. Нас с детства воспитывали быть скромными, неверующими, безвольными, непонимающими. И вот — дали свободы (множеств.), и мы снова испугались, и не знаем, что с ними делать, и хотим обратно в стойло. Кто может воровать — ворует, но ты правильно сказала: воровать не умею. И я тоже... Я в деньгах ничего не понимаю, как в картах. Тут мне надо было подарок сделать “нужному” человеку, бутылку кушать красивую, я к кассе подхожу, отсчитываю сорок рублей червонцами, кассирша на меня смотрит, ждёт, пока я очнусь к действительности. И до меня доходит, и я отсчитываю ей десять раз по столько, 400. Мы даже на этом уровне не соображаем, что с нами происходит. Но не для того же я родился, чтоб мыть иномарки, как ты думаешь?

Тебе хорошо, ты родила. Может, так и оставим ему имя Иоанн? Я вас очень люблю и жалею, и скоро приеду, честное слово, а не то вы приезжайте, хотя это, наверное, глупо приглашать вас в душный, загазованный город. Пиши, пожалуйста. Ты моя последняя надежда.

Ваш Иван.

Здравствуй, дорогой Иван!

Дорогой не потому, что прислал 500 рублей, за что тебе сердечное спасибо, ибо теперь мы с молоком и с хлебушком сладким. А потому дорогой, что пишешь нам такие смешные письма. Я их читаю и смеюсь, а Ванюшка попукивает, потому что я перечитываю ему их вслух, и он тоже приходит в “восторг”.

Спасибо, пиши, конечно, чаще, хоть бы и всякую ерунду, мы любому твоему словечку очень будем всегда рады.

У нас в огороде всё, что посеяли, растёт: петрушка, лук, чеснок твой любимый, салат, редиска, морковка. Клубника нынче плохо уродилась, отходит. Скоро уже поспеет смородина. Цветы даже некоторые размножились, и вообще летом у меня гораздо уютнее, за листвою не так видны тюрьма и кладбище, мы с Ванюшкой часто сидим теперь на дворе у крыльца, а если ты приедешь, и мы навес какой соорудим, то будем и на самом крыльце сидеть и в дождь, и на припёке кум королю, сват министру. Помнишь, “На золотом крыльце сидели...”?

Ванечку всё же записала Петенькой, но зато отчество его пока открыто по известной причине. Да и зачем нам два Ванечки, мы так рассудили, Ванечка у нас один на все времена, великий и ужасный, и которого мы любим и ждём.

Твои Мария Ивановна и Пётр Иноземцевы.

Милые мои и дорогие Мария и Пётр Иванович!

Какое роскошное, счастливое наступило лето, словно в насмешку над нашими земноводными бедами! Какие восхитительные облака стоят нынче над Подмосковьем! Сколько жизни в запахах трав и листьев после короткого и шумного грибного дождя!

Я же окончательно раздваиваюсь, четвертуюсь, режусь на восьмушки от самых противоречивых мыслей и чувств по тысяче поводов. И не с кем поделиться, кроме как с вами, потому что как только затеется у нас тут мало-мальски серьёзный разговор, так сразу споры. А святые отцы заповедали уходить из места, где спорят, ибо не в споре рождается истина. Или, по мне если, то так: в споре рождается не истина! А что рождается — судите сами. Видимо, нечто среднее, компромисс или консенсус, где нет ни лжи, ни правды, нечто тёплохладное и нужное только, не к ночи будет помянут, известно кому.

Иван Лозовой.

P.S. Кажется, меня осенило: мы строим колониализм!

Дорогой Иван!

Как жаль, что тебя нет с нами! Наступила такая летняя благодать, за которой всё-всё плохое забылось. Мы с Петенькой целый день на дворе, улы-

баемся, разговариваем, поём, только не стихами ещё, а больше пузырями, но в будущем обещаем стать красноречивыми.

И не будет никогда никакой правды. Петеньке я гляжу в его ясные синие очи, душа ангельская, да только жить-то ей на земле, среди людей, на испытание, зло, обман и болезни. Что в ней сохранится, во что обернётся? А если мамки не будет рядом, к кому попадёт, кем станет?

Прости, не могу писать больше. Приезжай, горе моё, вишня поспела.  
Твоя М.

Милая Мария!

Возможно, мы увидимся прежде, чем это письмо дойдёт до твоего старого доброго почтового ящика с проволочкой вместо замка. Надо мной ясное сочинское небо, а в полста км к югу идёт война. Реку Псоу нам с приятелем пришлось переходить вброд, мост перекрыт войсками, да и все подходы к нему забиты беженцами со скарбом, детьми и домашними животными. Как в кино. Не хватает только операторского крана и режиссёра в кепочке с мятюгальником в руке и в чёрных очках. Мы же всё ещё, как муравьи, не осознаём, что происходит ныне, потому что всё ещё не осознали, что произошло год назад и раньше. Мы вообще не любим или не умеем задумываться. А дети-то плачут, а бандиты-то стреляют! Солдатами их назвать не решаюсь после того, что видел и слышал в Новом Афоне и Эшери. Боже мой, как мы, русские, всегда любили грузин, их песни, их тосты, их фильмы, их блеск!

Петру везу фрукты, ракушки, разноцветную гальку, тебе — сердце своё. Паровоз, на который нет билетов, идёт через ваш областной центр, отсюда я доберусь на попутной. Осталось только объяснить военному коменданту станции, что мы с фронта. Надеюсь, что у него под фуражкой найдётся сродни тому, что у меня под легкомысленной панамкой.

Иван.

Дорогой Иван!

Теперь я немного пришла в себя (от тебя), чувствую тебя плохо и могу писать. Кстати, ты меня, то есть нас, даже не поздравил открыткой. Впрочем, наверное, всё ещё боишься. Ладно, я тебя давно простила за всё, только не убивай никого и не убивайся.

У Виктории Токаревой (не плюйся, дослушай) есть такой рассказ, где герой рассуждает примерно так: вот у меня в жизни были две женщины, с одной мне было хорошо, и без неё хорошо, а с другой плохо, и без неё плохо, и я всё мечтаю (типа того) о такой, с которой бы мне было хорошо, а без неё плохо... А я, милый мой друг Ваня, уж боюсь, что без тебя мне хорошо, а с тобой плохо, прикидываешь? А ты ещё говоришь “нет!”, кричишь на всю нашу Красную площадь, что усыновишь моего Петю.

А ты его спросил: хочет он такого папу или нет? Не говорю уж про себя. Мне ведь деваться некуда, думаешь ты наверняка на мой счёт.

Снова дождь со снегом, и сквозь них изредка, как лучик веры, сверкает солнышко на закате. Тогда бывает очень красиво, и отпускает боль. В соседнем доме поселился художник из Ленинграда и, узнав, что я нищая и голодная, нанял меня натурщицей. Немного платит и кормит обедом (чтоб не упала), который готовит хозяйка. Я её знаю, она раньше поселилась тут из-за мужа, он сидел в нашей тюрьме. Мужа убили сокамерники, а она так и осталась. Я раздеваюсь до в чём мать родила, иногда кормлю грудью, только не понимаю — к чему всё это? Потому что у Льва Мельхиоровича на холсте, я подглядела, пока он до ветру ходил, всё одни какие-то разноцветные кубики. Но он со мной разговаривает, когда красит, спрашивает и тут же не велит отвечать, чтоб не вертелась. Чудные вы все. Но это не значит, что вам всегда всё прощительно! Глядя на него, я тоже решила тебе нарисовать что-нибудь на добрую долгую вечную память. Силь в плё: М., женщина, которую ты сделал несчастной. Прощай.

Милая Мария!

Давай дружить. Что я могу ещё сказать? Видишь, вкладываю письмо на самое доньшко новогодней, а лучше сказать — рождественской своей банде-

роли, после шоколада и орешков, и прочей ерунды, чтобы ты его не выбросила сразу. Как там: “Печку письмами топила, не подкладывала дров...” Я ем только гречку и лук, так как за прошлый год мне отдали гречкой и луку мешок. Гречка, говорят, для костей полезная, ну, а лук — от семи недугов. Луку-то у вас много, а вот гречку — скажи: выслать или привезти? Я же всю не съем, наверное. И всю дорогу снег.

Я люблю вас очень по-настоящему, Иван.

А рисунок ваш, конечно же, в рамочке и на стене, рядом с фото. И, мнится мне, он лучше, чем Льва вашего, Мельхиорыча, рыча.

Здравствуй, Ваня!

Ничего ты на наши вопросы не отвечаешь, не скажем тебе и мы — чем живём. Как бабка Настёна говаривала: поп своё, а чёрт — своё. Мы живы, и — ладно. Вмерзаем в землю. Давно такого морозища не было.

Если б я любила, как некоторые, прикладываться к “плакончику”, то с недавних дней и вовсе была бы счастлива, так как по соседству с нами часовню, могильный склеп купцов Заусайловых, что на краю старого кладбища, приватизировали и превратили в вино-водочный магазинчик “Исток”. При этом заезжие поляки такой отгрохали моднячий дизайн с неоновой витриной, что весь город потянулся глядеть, несмотря на лютый холод. Вспыхивают поочередно снаружи и внутри множество разновеликих звёзд, и народ наш молча дивится, только пар стоит над головами, да снег под валенками поскрипывает, никогда допреж такой цивилизации не видывали, чтоб вот у нас самоё. Я было попросилась у них полы мыть, да куда там, пьяницы наши за стакан и пустую посуду не то что моют, облизывают её, часовенку-то, или магазин по-теперешнему.

Мы, как ты, наверное, догадываешься, плотно перешли на гречку с луком, и решительно настроены дожить до весны и Пасхи.

С любовью к нашей великой родине, твои скромные простые друзья — Петя и Маша.

Милая моя Мария!

Почему-то больше всего люблю обращаться к тебе именно так, это звучит мягко музыкально и по-матерински. Маленькая миленькая Машенька! Я соскучился и по тебе, и по мальчику, и по вашему удивительному городку-селу. Мне кажется порою, что милая моя Москва когда-то была такою или хотя бы те её части, что прилегают к Москве-реке в центре. Я ещё помню, как мы во дворах воевали с крапивою и собирали дикую малину, в лужах водились головастики, под деревянными заборами там и сям, да и на бульваре, росли шампиньоны, а каждый магазин из разряда “Продукты” носил имя собственное, наречённое народом: “Пьяный”, “Молотовский”, “Три поросёнка”, “На ступеньках”. Рядом медленно и важно шли баржи с Волги и Оки, и на них шла семейная жизнь, сушилось бельё на верёвке, дети играли мячом, привязанным к мачте, а за бассейном “Москва” возвышались венцы Кремля, и всем было абсолютно наплевать, кто сидит под ними царьком — Хрущёв или Брежнев? Так странно, что ваш городок — ровесник Москвы, и случись что с татарами иначе, он мог бы быть столицей, а мы — деревней...

Вчера был день рождения Государя Императора Николая Александровича, и вся славная бригада художников с примкнувшим к ним альфрейщиком Лозовым, во главе с батюшкой Силуаном приняла действенное участие в молебне и крестном ходе. Собрались у закладного камня часовни в честь иконы Божией Матери “Державная” за забором разваливающегося вышеупомянутого бассейна, на месте которого стоял храм-памятник героям войны 1812 года во имя Христа-Спасителя, взорванный в 1931 году товарищем Кагановичем. Ну, ладно, не буду, всё же человек умер, и когда-то самому Сталину помогал, и неизвестно ещё, действительно ли он его отравил и говорил ли при взрыве храма, что “наконец-то мы задрали подол матушке-России”?

Жаль очень, что не было вас с Петей. Да-да, многие, нет, некоторые молодые мамы несли детишек своих — этих ангелов земных — на руках. Пи-

шу тебе это всё вследствие небольшого потрясения. Во-первых, было множество людей, причём разных, от “простых” старушек до военных в форме полковников СА и капитанов ВМФ, монархистов с портретом Георгия (это который Гогенцоллерн и живёт в Париже), казаки, конечно, много молодых людей, много хоругвей, икон и флагов, причём в пику дерьмократам ельцинско-новодворского торгового триколора не было, а несли чёрно-бело-золотой, причём у одних верхняя полоса была чёрная, а у иных — белая... Энтузиазм побеждал разум. Мне (и это во-вторых) поручили сбор средств (как в вашем бывшем хлебозаводе) на созыв земского собора и на возрождение монархии одновременно. Обклеенный белой бумагой ящичек с прорезью для денежек и верёвка на шее, как у лоточника. Сколько мне удалось собрать на возрождение — военная тайна. Пели, молились, батюшка махал кадилом, причём со Святой Земли ладан, который ещё Апостолы обоняли, может быть. И вот мы идём по набережной к Кремлю, ветерок ласковый такой, развеивает шёлк, атаманы несут портрет Государя, как икону храмовую, к нам присоединяются ещё и ещё... Так бы идти вечно, не останавливаясь, не доходя до очередного тупика!

На площадь нас не пустили, пошли закоулками позади ГУМа, вышла потасовка с ментами, чуть не драка, которой, собственно, всем немного хотелось, всё равно весело, иностранцам любопытно, молодёжь американизированная хуже иностранцев, понять ничего не может: “Кого хоронят?” — спрашивает, жвачкой своей как не подавятся? Но всё обошлось стоянием у строящегося Казанского собора, почти митингом. Нет, идти всё-таки лучше...

Идти, идти... Милая моя Мария! Зачем это я всё? Может, мне больше не писать тебе, а лишь посылать продовольствие? Всё же ведь и так ясно. Помнишь тот старый антисоветский анекдот про листовки из чистой бумаги? Но. Невозможно мне оторваться отсюда, а жить я не научусь, наверное, в ближайшие триста лет. Монах из меня вряд ли получится путёвый, знаешь лучше меня. Вот зайдёт солнце, пойдёт дождь, померещится снег, и нет надежды. Прости меня, грешного, матушка Русь!

Милый мой мальчик!

Назови хоть горшком, да только в печь не ставь. Чтобы сразу не жаловаться, начинаю думать: а что же у нас есть хорошего? Зубки режутся? Пожалуй. Клубника созрела, скоро будем молодой картофель копать, пусть ещё подрастёт немного. Колорадского жука собираем в миску с керосином, увлекательное занятие, успокаивает. При этом я не загораю, как некоторые из соседок, дабы не смущать ни конвоиров, ни заключённых. “Исток” сожгли, тоже новость хорошая. Интересно, что будет теперь в нём, в ней? “Устье”, может быть. По телевизору у сестры видала твоих гогенцоллернов. Все наши недоумевают: а чего они такие чёрные? И жирные, как мухи. Впечатление усиливаются чёрные одежды. Наверное, одели чёрное, чтоб хуже казаться, или из-за траура? Ельцин будет теперь при них регентом? А может, сразу Хазбулатова посадим на трон? Расим будет доволен. В августе, когда пойдут арбузы, он снова появится, грозил привезти мне в подарок живого барашка. Цыплят по осени считают. Когда ты приедешь, тут уже будет разгильвывать по убранной ботве важный круторогий баран, да?

Ещё одна новость, не знаю — из какого разряда? В бывшем Доме пионера и школьника теперь стриптиз. Окна заклеены изнутри чёрной бумагой и сотрясаются от звуков музыки. Охраняет здание, как ты думаешь, кто? Правильно, он со товарищи. Как бывшая натурщица, имеющая опыт работы по форме одежды ноль, я бы предложила свои услуги, но боюсь, что не пройду по стандарту грудь-талия-бедро. Если уж я больше ни на что не годна... Впрочем, могу пойти на запчасти, здесь где-то ходит по городу некто, предлагает купить органы на пересадку. Пока желающих не видно, но слухи эти упорные.

В Москву ехать не хочется. Во-первых, жарко, во-вторых, страшно. Что такое альфрейка — у нас тут никто не знает, даже в соборе, где ремонт не производился с начала Первой мировой войны. Не грусти, Ванёк, прорвёмся, где наша не пропадала!

Меня обокрали, но подробности — в следующем письме. Я тебя всё равно жду и иногда скучаю. Петя бы скоро уже научился говорить “папа”, но не на кого пристреливать. Говорят, у вас теперь на вещевом рынке всего много и дёшево. Ты, если что, посмотри чего маленькому, я отбатрачу. Не сердись, что несу всякую чушь, это я так. Баба глупая, квартплату не платит, почти неграмотная (политически), чего с ней взять?

Целую, М.

Милая Мария, здравствуй!

Ты пошутила насчёт обокрали? Просто не могу представить, что они могли у тебя взять, кроме моей фотографии? Неужли часы с боем? Может быть, я шучу неудачно, прости. Жаль, что не могу теперь пригласить вас к себе, да к тому же ты боишься Москвы. Правильно, бойся. Пока всё разворачивается оптом и в розницу, в розлив и на вынос, тут творится сущая вакханалия, все эти презентации и шоу — как поминки “по самой прекрасной, по самой великой стране”. Недавно нам показали по ящику, как вывели пред камеры живую свинью, омыли в тазу, закололи на глазах у всего мира, предупредив, что эта свинья — это Россия, ни много, ни мало, затем стали резать на куски и раздавать присутствующим. Не видел бы собственными глазами, не поверил бы, как вот и ты, наверное, сейчас мне не веришь. И я отказываюсь комментировать это, не потому что мой комментарий фашисты назовут фашистским, не этого я боюсь, и не потому, что я в шоке и как оплётанный, а потому что не хочу верить, что всё это творится наяву. Впрочем, в этом унижении мы пребываем давно. Не лучше ли умереть или погибнуть — спрашиваю я, увы, у тебя. И сам отвечаю: нет, мы ещё увидим нечто иное, чего мы будем творцами. Это чувство есть в крови, как знание, как правда... И без конца эта реклама турпоездок куда-то на Канары или в Майами, к чёрту на кулички, в сторону, противоположную Воркуте и Колыме. Ясно ведь, что все, кто смотрят эту рекламу, не могут себе это позволить, а те, кто могут позволить, не нуждаются в этой рекламе. Стало быть, смысл её совсем в другом. Это, знаешь, как ещё в те года в портах нашим матросикам всучали бесплатно видеокассеты порно, или как сейчас малолеткам на дискотеках раздают наркотики. Скоро будут лить в краны отравленную воду (ты-то, слава Богу, при колодце). Неужели же, думаю я, милая Мария, все погибшие за веру, царя и Отечество, все сгинувшие в лагерях, расстрелянные в подвалах, павшие на фронте — не отмолили, не искупили революционного греха? За что Господь всё ещё гневается на нас, не прощает, не щадит ни старых, ни малых? Поневоле ноги несут в церковь, прочь от этой “реальности”. Наша жизнь человеческая это есть материализация идей... Но зачем я пишу тебе это, родная? Знаю: потому что ты единственная, кто прочтёт, услышит, запомнит, сохранит. За что мне это счастье? Спасибо тебе.

В городе, действительно, жарко, душно. Завтра мы с другом едем к его родителям в Можайск на машине покупаться, попариться в баньке. Вот бы ты была со мною! Петру — привет. Расиму — нет.

Целую, Иван.

P.S. Впрочем, если вдруг соберётесь, приезжайте, что-нибудь придумаю, перекантуемся.

Здравствуй, дорогой друг!

С праздником! Сегодня Преображение, мы впервые ходили в церковь, которую открыли в закрытом хлебозаводе. Народу было так неожиданно много, что я не стала даже пробовать войти с маленьким, а так и стояла со своими яблочками в корзинке у входа и молилась на икону Св. Троицы, что над дверями. И вот, о, чудо, молодой священник с чашей святой воды и кропилом протискивается на паперть прямо к нам и щедро так окатывает, окропляет и яблоки, и нас с Петенькой. Сын заплакал, а я прямо-таки заревела от счастья. И вокруг улыбались, смеялись, вдруг все стали такими родными, хорошими: и подростки, и старики, и женщины, все стали одинаковыми, в смысле — людьми, христианами, русскими, глаза потеплели, никто не

толкается, взгляд осмысленный, как на фресках в соборе или как на картине Иванова. Преображение, словом. И сразу резко, тот есть сильно запахла вчера ещё бывшие зелёными яблоки, запахла мёдом, зазолотились, а священник молодой всё кропит кругом и одному мужичонке аж налил за шиворот, тот довольнёшенек, и батюшка рад, что все рады. Тут и в колокола вдарили во дворе на временной деревянной звоннице, и солнце проглянуло. Смотрю я это, а в ограду-то три беленькие овечечки бегут, агнцы Божии, и откудова они взялись, ума не приложу. У многих цветы в руках, от этого мне и сладко и грустно, лето ведь проходит, утренники стали уж туманны, с прозрачным инеем на крыше, и на кустах — капельками в паутинках. Так хорошо, Ванюша, так свежо, так хочется ещё пожить и жаль, что тебя нету с нами.

А про бывшее — что ж? Есть тут у нас один по прозвищу Синичка, по фамилии, наверно. Бывший электрик, весь год ходит в резине. Он мне сам как-то раз предложил помочь по хозяйству. То замок починит, то петли, то свечи, а тут пришёл ночью во время грозы и давай требовать выпить, а у меня не было, как назло, я ему денег дала, какие были, так он, видать, и подглядел — где у меня что лежит, хоть там и нет ничего, верно ты выразился. А только от мамы осталось колечко на память, да вот ещё два ваучера. Короче, когда нас не было, он, видать, всё и вынес. Думаю — он, потому что у него, поди, и ключ должен был быть, раз уж он замок-то ставил, ничего ведь не взломано даже, и он после того случая не появляется, только мимо ходит. Я окликнула, он не оборачивается. А теперь вот и лодка пропала резиновая надувная, от отца осталась. Мы на ней за сеном ездили, бывало, на тот берег, когда козы были. Она у меня под крышей и стояла полусдувшаяся. Полезла тут траву развесить от дождя осеннего — зверобой, мяту, — а лодки нет, ни вёсел, ни насоса, всё вместе было, я ведь уже и покупателя приискала, так от него, наверно, и узнал. Заявлять я не стала, шут с ним, всё одно отпустят, он только злее ко мне будет. Ведь он и жену убил по пьянке года два уж как, вместе пили, отпустили. Она, говорит, сама удавилась. Ну, с праздничком тебя ещё раз, родной.

Пиши, твоя М.

Милая моя Мария!

Вот и осень, да вдруг такая холодная, сразу со снегом. Выпал, окаянный, ну, думаю, ща растает, навиделся я одна в Питере, как он шёл аж в июне месяце... Нет, лежит, подлец, и ещё прибывает. К чему бы это? У Белого Дома пикеты, жгут костры. Товарищи мои уж все туда сходили, да не по одному разу, а у меня ноги не идут, чувствую, что и там много всякой неправды. Меня ещё до сих пор тошнит от всех этих: станция метро “Проспект Маркса”, “Площадь Свердлова”, “Библиотека имени Ленина”... Только мы хоть от этого наваждения стали избавляться, нам снова в рожу красным тычут, не хочу. Собственно, в пикетах сидят те, кто к красному привык, а те, кто им тыкал, теперь замки строят, крепости, бункера. Всех ненавижу, а к тебе не еду яблоки грызть, почему? Чувствую, что должен я ещё здесь что-то завершить, точку поставить, не могу многоточием закончить.

Иду тут по Мытной от Данилова, смотрю, их группа направляется мрачным шагом к своему памятнику Кербеля на Октябрьской. Хотел спросить их: “А вы “Бесов” читали?” Идут, как заговорщики. Я понимаю, что Гавриил Попов и Сергей Станкевич хуже во сто крат, но так тоже нельзя. Увидел знакомого журналиста в середине колонны, хотел к нему подойти, не пускает один хлыщ: “Ты кто такой? Иди к своему Ельцину!” Неужели я на ельциноида похож? “Почему, — говорю, — вы людей от себя отталкиваете? Так у вас ничего никогда не получится”. “Ага! — возрадовался несчастный. — Ату его, ребята!” Ну, и дали мне пинка под зад, натурально.

Целую, Иван.

Дорогой Иван!

Что у вас происходит? Машины, идущие в Москву, все до единой останавливают, проверяют, подозрительных обыскивают. В тюрьму доставили

нескольких ребят, они собирались попутками на помощь “защитникам Белого Дома”. Звучит очень тревожно. Я сразу, как тот приказ опубликовали, ельцинский, почувствовала запах крови. Перед этим у меня как раз, уж признаю тебе, была полная апатия, как снег лёг на огороды, проспала трое суток кряду, а теперь не могу спать, чую, что-то будет, нехорошее. Бедой несёт, как Настя говаривала. Приезжай, милый, накопи дров на зиму, никогда не просила, сейчас молю Христом Богом: приезжай, любимый...

Твои Мария и Петрушка.

Здравствуй, Иван!

Не удивляйся, что конверт без марки и штемпеля. Я сама своей рукой опустила его тебе в почтовый ящик, что приколочен у тебя почему-то прямо на двери, хотя внизу в подъезде есть ещё один, вместе со всеми квартирами. Этот ты оставил как печаль по прошлой жизни, сознайся? Увы, этим её не воротить. Да, впрочем, её ничем не воротить, прошлую жизнь. Я одна, без Петрушки, вот и философствую. А он у сестры, разумеется. Как только всё это закончилось, весь ужас, комендантский час, я вот приехала и стою под дверью. По моргам искать тебя не буду, не надейся. *Всех телефонов твоих номера* обзвонила: или не отвечают, или не знают, где ты? Ты бы хоть словечко одно кому-то, если не мне, сказал. Ты эгоист, никого не можешь любить. Почему ты такой, противный?

Целую, Маша.

P.S. И пожалуйста, не пиши это своё дурацкое “милая”, осточертело.

Милая моя, дорогая, родная, любимая!

Не ругайся, тебе ругаться не идёт. Не сердись, прости дурака. Я, действительно, противный эгоист и всё прочее, но каюсь в этом и даже прощён и причащён. Думаю, что теперь уже можно открыться. Всё это время я жил в монастыре на острове, помнишь, я рассказывал. Сожалею, что и из тебя сделал невольную монашку, нет? Занесло нас там снегом по самое некуда, лопатой остров не шибко-то расчистишь, а он всё идёт и идёт. Уж решил, что засну в сугробе, как медведь до весны, ан нет, вот я дома и распечатываю твоё сердитое письмо, ух, аж искры сыплются! Ну, раз так, то придёт-ся всё выложить, другой раз не соберусь, ведь собирался многожды. Ты тоже не удивляйся, что письмо это получишь прямо в белые руки, а прочитав, и сожжёшь. Пообещай сейчас же, а потом читай. Ну вот, умница, дай я тебя за это поцелую, в ушко.

В тот солнечный день с утра, как все, я поехал-пошёл в церковь, а вернее сказать — в собор, в Патриарший Богоявленский, что в Елохове. Войти внутрь уже нельзя было, я встретил кое-кого у входа и потом с ними поехал вдруг за город копать картошку. Мы, видишь ли, ждали у собора, не объявит ли Патриарх анафему, и не дождались, не объявили ни тогда, ни после. Заболели и Патриарх, и аз, грешный, об этом см. ниже. Почему-то мы мало дорогой говорили о том, что происходит, а я и вовсе вопросов не задавал, мне только хотелось на воздух, на свет, на волю, в тишину. Неужели мы втуне надеялись, что всё рассосётся, или шок от наступающей беды уже наступил тогда? Интересно, если есть судьба (суд Божий), то печать смерти может чувствоваться здоровыми людьми за день, допустим, или за полдня? Мне почему-то кажется, что мы чувствовали приближение смерти, пусть даже не своей, чьей-то, поэтому и не говорили об этом. Собственно, один из той машины уже умер, сердце не выдержало...

Знал, что и без меня обойдутся, обкричатся (а мне всё было некогда), но что не останусь в стороне, когда будет стыдно не идти, оставаться в тёплом доме у телевизора. Честное слово, меня Ангел-Хранитель спас, что я живой. Я простудился сильно на ветру и заболел, но если бы во второй раз... Впрочем, нет, такого второго раза не будет, будет что-то другое, но будет обязательно. Ты не думай, я был там и остался бы до утра, а значит, и навеки, но не сложилось. Возбуждение моё было так сильно, что я не сразу понял, что заболеваю, и, добравшись до дому, переоделся очень легко, не ображая, что иду в ночь. В метро всё как обычно, только, как и в августе

91-го, расклеены повсюду проельцинские листовки с ошибками, написанные не по-русски русским шрифтом. Что-то там про красно-коричневых.

Много полупьяной не по времени, весёлой молодёжки, словно применено было (да, снова и опять!) психотропное оружие, даже нормальные граждане нервно улыбались. Что-то близкое к лёгкой вялотекущей истерии. Зато, выйдя со станции “Баррикадная” (вот уж поистине мистика, а впрочем, для них, сук, спровоцировавших первую народную кровь гражданской войны, которая, несомненно, началась за 12 лет до февраля 17-го года, это место Красной Пресни стало сакральным), я увидел всё иное, уже на эскалаторе перед выходом. Все быстрым шагом устремлены — туда! В точности, как у Хлебникова: “Все за свободой — туда!” Никакого оцепления, и это была заманка, ловушка, значит, уже решение о расстреле было принято окончательно. Жаль, что я не кинооператор, не журналист, не фотокорреспондент, мне кажется, я смог бы сделать хорошие съёмки, если б снять всё так, как видели мои глаза! Собственно, я увидел то, что представлял себе и так. Здесь были все. Я имею в виду — те, кто сознаёт себя частью сердца русского народа. Были и другие, они-то как раз много снимали на video, то и дело меня ослепляли блицы фотокамер в упор. Но те эти, мы, русские, и это главное, — пришли сюда не убивать, а быть убитыми. Это надо понять и крепко запомнить. Пришли принести себя в жертву. Я видел только один АКМ, им потряс над головой кто-то серенький с балкона, чего-то прокричал, и ему слабо ответили. Хмурые казаки у костра, почерневшие за долгие дни и ночи от холода и пыли, не отвечали на мои вопросы. Были дети и подростки, нет, не те зомби из метро, что аплодировали наутро выстрелам на мосту, а моложе их, лет десяти, и много! То есть — поверившие родителю, а не СМИ. Старики многие надели ордена и медали. Снова уйма плакатов, лозунгов, знамён, портретов... Вынырнул И.: “Надо идти на Кремль, звать народ брать Кремль, чего тут ждать?” Но ждали команды вождей. Кого? Думаю, никто не связывал Верховного главнокомандования ни с кем конкретно, ни с Руцким, ни с Хасбулатовым, ни с Очаловым. Может быть, потому и не могло ничего получиться, что не было лидера. Мне кажется, что если бы вместо того серенького с АКМ вышел бы на балкон, ну, хотя бы Игорь Тальков, то и пошли бы, и взяли бы голыми руками. Увидев Анпилова, я бросился к нему, хотел просить его провести меня в Дом, и он бы провёл, и я бы остался внутри, но опять Промысел не пустил меня: я забыл его имя — Виктор, а по фамилии окликнуть воспитание не позволило, пока вспоминал и сомневался — три секунды, он затерялся в толпе. Стал обходить здание кругом; с фасада, как на обратной стороне луны, холод и мрак, и — никого. Вот тут-то я и почувствовал, что заболел, и что всё у меня ледяное, руки, ноги, спина, словно я в одной майке, а не в куртке...

Я злось, но горд, счастлив, что стоял в строю, и этого у меня уже не отнимешь, я был готов, я шёл на смерть за Русь святую, за её правду. Но теперь я еду домой, чтобы переодеться, наконец, по погоде, выпить горячего чаю и водки и, пока метро это ихнее треклятое не закрыто, ехать в Останкино самому. Оглядываюсь в последний раз на волны людские вокруг Дома, море, которого я минуту назад был каплей, волнуется, волнуется, но что-то не так. Нет веры, общей для всех, нет явного врага, нет и царя в голове. Будет, нет ли? Было ли?

Дома — телевизор, в телевизоре — Сорока. Ух, как же я её теперь ненавижу! И ведь всё от глупости. Предательница, да, ведь бабу-то куда как проще им обмануть. И — “куда чёрт сам не поспеет, туда бабу пошлёт”. Глаза помешанной и стеклянные, навывкате, с губ капает ненависть. Говорят, что расстрельные команды у нас любят составлять из женщин — у них психика меньше страдает. Один тут атомщик мне в вагоне рассказывал, что на станции у него все контролёры на постах — женского полу, бдительности втрое больше, а мечтательности вчетверо меньше. Боюсь я их...

Сажусь с чаем и водкой у телевизора, беру с собой на диванчик телефон, хочу ещё кому-то позвонить, но чувствую, что очень плох, не соображаю. На экране Кругов, долго не решается начать фразу, видимо, понимая, что больше одной фразы в прямом эфире сказать не дадут. Не дали и полфра-



зы. Только он: “Народ устал...” как тут же и вырубили, тёмный экран, без всяких заставок, словно нас всех накрыли медным тазом, захлопнули...

Потом я впал в забытие. Почудилось, что за окном стреляют, от этого и проснулся? Померял температуру тела — 38,5, это утром-то, что же в полночь было? Как в бреду — или в бреду? — звоню знакомой врачихе, она долго и нудно объясняет мне, как лечиться, а я вдруг бросаю трубку, потому на экране — расстрел начинается, представляешь?! Руки безвольно опускаются. Значит, это был не сон, и стёкла слегка, как осенние листья, на самом деле подрагивают от залпов орудий. Может быть, кого-то уже и убили? Всё доходит постепенно, а их-то уже убили сотни, моих-то родных, наших-то, детей и женщин, стариков и молчаливых безоружных казаков...

Милою я тебя всё равно буду звать, как ты ни сердись, потому что ты милая. Мария, что мне делать, как жить? Зарекался не жаловаться женщине, не искать у женщин помощи, не просить совета, и сейчас не это я делаю, но — ответь, ты же ведь умная, хорошая, добрая.

Милая!.. Твой И.

Родной мой!

Что тебе написать? Про Петра ты уже не спрашиваешь, с новым годом не поздравляешь, ни с Рождеством, понимаю, у тебя шок, и у меня — шок, от тебя. Где это тебя черти носят, э? По монастырям, по электричкам, я уж не говорю про твой *великий октябрь*, будем разбираться особо. Избави Боже, не подумай чего, я имею в виду, что переживала за тебя страшно. Милый, смешной дурачок, хватит воевать с ветряными мельницами! Здесь, на окраине, есть две души, которые тебя искренне любят, и у них тепло (хотя дров ты так и не наколот, а обещал!). Приезжай хоть на сколько-нибудь, я на всё согласна, всю-то ты мне уже душу истомил, уж я иной раз думаю: а есть ли Иван на свете или это его брат пишет похожим почерком: “У вас продаётся славянский шкаф?”

Мария.

Дорогой Иван!

Уже две недели как послала тебе письмо, и ответа нет, и не знаю, когда он придёт — завтра, сегодня, через месяц или год? Если б ты знал, как это тягостно, ведь у меня никого нет, ты не веришь, смеёшься...

С этой записи прошло три дня. Увидела это своё письмо как чужое, так странно, будто не я писала, хотела порвать, но вот — сохраняю.

Умираем с голоду.

Твой Мария и Петя.

Дорогой Иван, здравствуй! Петрушка болеет, поэтому я коротко. Поздравляю тебя с днём рождения, желаю, чтоб всё у тебя в жизни наладилось. Дай Бог тебе здоровья и жену хорошую, весёлую и непьющую. И чтоб ты был розовый и ласковый, как поросёнок на этой открытке.

Мария.

Милая моя Мария!

Получил твоё сердитое поздравление, спасибо тебе человеческое. Как сынуля? Надеюсь, поправился. Во что бы то ни стало должен приехать к вам, хоть кровь из носу. Только не говори, что я никому ничего не должен. Должен. Кажется, у меня появилась копейка, на днях вышлю вам небольшую бандерольку.

**ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!**

Целую крепко, ваша репка!

Дорогой Репка!

Спасибо за бандероль, которую, признаться, мы не ждали с самого начала, но, конечно, она могла и затеряться где-нибудь на просторах седьмой части суши. Спасибо за сочувствие, спасибо за советы, за оптимизм, за от-

кровенность, словом — спасибо за всё, за то, что Вы есть. Как много поводов сказать Вам спасибо, а ещё спасибо нам за то, что Вам ещё есть кому морочить голову. Очень жаль...

Написала и прочитала Пете, он смеётся, и правильно.  
М.

Маша!

Короче, я днями выезжаю к вам. Ладно, Мария! Я еду! Еду! Уже билет покупаю! Ваш дорогой Иван.

Мария, Мария!

Эти дни жизни, что я прожил у тебя... я считал каждый час за счастье, каждую минуту.

Обожаю тебя!  
Иван.

Милый!

Соспели антоновские яблоки. Я их на тёрку и с сахарным песком даю нашему Пете. А ты любишь печёные. В печке получаются на загляденье. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, верно? Спасибо за признание в любви. Может, ты редактором в нашу многотиражку пойдёшь, там есть вакансии, я узнавала. В отдел рекламы. Ваня! Позвони, пожалуйста, вызовом через почту, ладно? Я беременна.

М.

От кого?

Ты знаешь, я могла бы ничего не писать, не отвечать тебе, могла бы (и это было бы правильно). Я не хочу быть злой, мелочной бабёнкой, которая во что бы то ни стало должна отомстить мужику, но, прости, я не могу доставить тебе такого удовольствия. Да, я сделала аборт, и теперь я думаю, что я сделала бы его и в том случае, как если бы ты был рад и прочее, но не переменял бы ни жизни, ни мыслей. Поступай, как хочешь, живи, как хочешь, всё это не имеет уже никакого значения. Я не проклинаю тебя, но и не жалею.

Мария.

Дорогие Мария и Пётр!

Желаю вам в новом году здоровья и мира! Пишу из Моздока, где работаю санитаром. На фото я с гранатомётом, не пугайтесь, это я так просто. Больше пока ничего сообщить не могу.

Прощайте. Иван Лозовой.

Здравствуй, Мария!

Пишу тебе из госпиталя, того же самого, где я работал по найму, а теперь сам лежу как стационарный больной. Ничего серьёзного: бандитская пуля. Если честно, по глупости ранило осколком. Больше пока написать не могу, иначе письмо не дойдёт, вся почта проверяется, и это правильно. Вообще говоря, когда я ехал сюда, мне хотелось героически пострадать, а теперь вот захотелось снова жить, тем более — весна. Что меня здесь больше всего удручает, это то, что наши солдаты, офицеры и гражданские покупают и слушают аудиокассеты с чеченскими песнями на русском языке, да ещё и везут их домой в Россию (так говорят, будто бы здесь не Россия, а Турция). Если ты мне ответишь, я напишу тебе больше. Мой адрес на конверте. А это фото Грозного, на этом месте... впрочем, ладно, потом. Как Петя? Надеюсь, вы здоровы.

Иван.

Здравствуй!

Вернее — выздоравливай. Пора, пора уже, друг мой, образумиться. Поздравляю тебя с юбилеем великой Победы. На 9 мая весь город собирается

выйти на улицу. Это будет нечто вроде мирного протеста против нынешней власти, которая, похоже, не знает одного, — кому скорее продать страну с потрохами: немцам или японцам?

Петрушка провалился на дворе в сортир, но, слава Богу, соседка услышала, и мы его быстро вытащили. Теперь он снова ходит на горшок. За стеной арестанты разучивают строевую песню: “Этот праздник со слезами на глазах”, орут во всю глотку, как ослы, не иначе с ними репетируют палкой по пяткам. И ты там скоро будешь, если не переменишься, это я тебе обещаю, не желая этого.

М.

Здравствуй, Мария!

Спасибо, что написала. Как видишь, я пишу уже из дома, жив-целёхонек, правда, открылась язва, и теперь, как велел военврач, пересматриваю философию жизни, глотаю таблетки и запиваю молоком. Надолго ли меня хватит, не знаю. Чего-то не то, как у Василия Макаровича в рассказах: “нечем заполнить вакуум”, с одним “у”. Поэтому, наверное, снова буду курить, хоть и не хочу, а надо. Иначе не успокоиться. Хожу по Москве-матушке, смотрю на дома и думаю: “А ведь придёт беда и сюда, будут гореть и взрываться эти коробки, если ничего не делать”. А в Чечне, отсюда я уже могу написать об этом, генералов наших бьют по рукам, не дают завершить начатое. И нигде никто не скажет, не вспомнит, что война-то была в Чечне гражданская с сентября по декабрь 94-го, и так же её ввозили из-за бугра, как здесь в 1905-м или в 17-м. Что русские сидят у них за каменными заборами на цепи, что женщине нельзя показаться на улице, что врываются в дом ночью и грабят, насилуют, убивают детей. Это же помешательство, психоз массовый, и это происходит на глазах у Европы, и она только рада, показывая на нас пальцем, будто в ней этого нет и не было, будто не из неё выползали все ереси и все прогрессивные гуманные идейки, разрушавшие мир, подлостью и ложью, клеветой и коварством удерживающие их власть в мире. Эх, кабы не видеть всего этого! Нет, невозможно снова стать несмышлёным ребёнком, проваливающимся в сортир. И ведь всё готовится здесь, под Кремлём! Скажи-ка, дядя, ведь недаром Склады оставлены Гайдаром? Имеются в виду склады вооружения, базы автотранспорта, техники, патроны, снаряды, ракеты, средства связи и средства защиты, медикаменты, сухое продовольствие, консервы, обмундирование, всё оставил шепелявый, земля ему пухом! И никто ведь не подойдёт и не даст ему по порослячьей рожице, даже щелчка по толоконному лбу не забубенит. Правы, правы чеченцы, бросаая нам в лицо свои гневные обвинения: вы спите, вы пьёте, вы продались американцам! Да, они многие искренне думают, что воюют не с русскими, а в нашем лице с мировым злом. Их ярость — это ярость Аттилы, который говорил о себе: “Я — бич Божий”. Не будет у нас Веры, не будет Царя — ничего не будет! Не мне пророчествовать, но я всё же был там, всё же сделал попытку, а кругом миллионы равнодушных, и на кого они уповают?! Я бы согласился с одним журналистом, написавшим статью “Нам нужна победа”, если бы мы имели волю и христианское войско. Он мне так говорил на дороге в Урус-Мартан: “Мы имеем право на победу, потому что наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных”. Вообще-то, это Апостол Павел... Но, увы, я не вижу этого сознания у властей.

Вот Петя твой в отхожее место провалился, а я хуже весь извалился в безверии и не отмыться ни в какой бане.

Иван Л.

Иван, ты знаешь, я не знаю, — зачем мы тебе нужны, но думаю, что, наверное, прости, если я ошибаюсь, — для какой-нибудь чернушной книги, которая никогда не будет ни написана, ни издана и потом выкинута кем-то равнодушным из твоего изъеденного жучком стола, да? Этого тебе надо? Вы интересный человек, Иван, раз у Вас такие фантазии, но что же дальше? Мы бы не хотели терять Вас.

Ты знаешь, Иван, наверное, и я должна попросить прощения у тебя за всё, что случилось, ведь я тоже виновата. Только, ради всего святого, это не повод, чтоб тебе опять напиваться и драться.

Прости. Я не хочу, чтобы в самом деле из-за меня, даже косвенно, ты был бы подстрелен или посажен. Я хочу, чтобы ты всё же успокоился, остепенился, взял себя в руки. Хорошо бы тебе жениться, не знаю — на ком? Влюбился бы ты, что ли, ведь ты умеешь влюбляться! И работал бы. Займись чем-нибудь одним, ради Бога!

Вчера ходили с Петрушей на полиелей, я наклонила его под мышки прикоснуться к Евангелию, а он взял его обеими руками с аналая. Нас отругали и чуть не выгнали, а я, дура грешная, подумала, что, напротив, он к Господу тянется.

А тут ещё что: на кладбище-то нашем совсем курьёз приключился, хоть мне очевидцы говорят, а я почти не верю. Михеич, бухгалтер нашего РЭУ, схоронил сына, а на другой день выкопал из могилы, из гроба вытащил, ко кресту спиной прислонил, труп-то, достал бутылку водки, разлил по стаканам и давай с ним разговаривать, чокаться, выпивать... Его увезли в психиатрическую. Тихий такой был всегда, вежливый. У людей крыша едет от всего. Кто-то надеется на лучшее, а мне кажется, что всё только начинается самое худое. Я гляжу на всё кругом, думаю-думаю, и ничего понять не могу: что происходит?

Мария.

Дорогой Иван!

Если от тебя нет ответа, значит, ты или запил, или влюбился, или слинял в монастырь, или сел. Да? В общем, я надеюсь, что ты не в Будённовске, что у тебя не холера, что ты, может быть, решил жениться (кстати, в нашем ЗАГСе заявление для вступающих в брак стоит всего 15 (пятнадцать!) рублей). А мы с Петрушей собираем урожай.

Пиши. М.

## ИНОЗЕМЦЕВОЙ МАРИИ ЖДИТЕ ЗАВТРА ПАССАЖИРСКИМ ИВАН

Дорогой Иван!

Ты уехал, и снова пусто и скучно, тем более, как ты велел, я уволилась под расчёт, забрала Петрушку из садика и сижу, курую. Первые дни было покойно и светло, осень ясная, выйдешь на двор, звёзды ярко сияют близко, на душе радостно, и ничто плохое её не смущает, а дни прошли, на улице ноне дождь, ветер, даже сына гулять меня не тянет. Спрашивает: "Где тата?" Это ты, значит. Какое-то индейское имя у тебя, племени апачи: Тата! Уж больно ему понравилось с тобой в пуговицы играть. Их же много у меня скопилось. Поди, и музейные есть, такие баские. Ваня! Что-то долго опять письма нет, как договаривались, уж я ящик-то почтовой до дыр проглядела. Ау, братец, скорее же!

Целую, твоя Маша.

Маша, милая моя Маша!

Я жив. Отсидел в Лефортове тридцать суток по подозрению, больше месяца без обвинения по закону нельзя. Теперь можно об этом, но подробности при встрече. Шняга порядочная. Били кумовья каждый Божий день не по-школьному, и в печень, и по почкам, и в рыло. Сам на себя удивляюсь, но не раскололся и не сдал никого. Ну, опустить не опустили, но под шконку затолкали раза, сучары. Бог им судья. Харкаю кровью до сих пор, худ и бледен, аки гриб поганый или лорд Байрон, но опосля Чечни мне всё это ничего, то ли видели! Целый месяц скучал сильно и понял, как я к вам привязан. Спасибо за беспокойство, за письма и молитвы, я чувствовал их сквозь стену, к камням щекой прижмётся, а они как живые, аж тепло от них идёт. Вот так, родная моя! Прости за всё.

Скоро свидимся. Иван.

Ваня, ну что мне с тобой делать? Хоть бы в Африку сгинул, уехал в Израиль, к чёрту на кулички, всю-то ты мне душеньку извёл! За что мне это наказание, Боже, Боже, за что?

Привет из Сингапура!

Я в шоке, я в шоке, я впервые за тремя буграми. Везу ананасы и обезьяну. Сегодня ездил на слоне, нас с ним по улице водили. Крестиком — окно, где я живу. Жди две недели. Здесь любно вас ещё больше. Целую, не волнуйся, прорвёмся: где наша не пропадала?

Always yours — John Loz.

Иван!

Ты кто по жизни? Нет, ты мне скажи: ты, по жизни, кто? Я уже стараюсь вовсе о тебе не думать — не получается.

Вчера сосед застрелил парня, молодого мужчину, забравшегося к нему в огород. Чего он хотел найти под первым снегом — трудно сказать, но нашёл смерть. А сосед пока переместился из-за правого забора за левый, тюремный. Но говорят, что его отпустят, у него охотничий билет и его земля...

Прости, открыточку твою оставила без комментария. Приятно, конечно, только я ничего уже в толк не возьму. Сингапур так Сингапур, слон так слон.

Целую, М.

P.P.S. А изотопы в колбах не ты ли контрабандируешь? А на Шеварднадзе покушение не ты организовал? Пожалуйста, лучше уж не пиши мне ничего и не рассказывай, я буду бояться спать с тобой. Иной раз и подумаешь: лучше бы он пил, как все...

Милая моя Мария!

Всё ждал такого светлого дня, когда все мои чувства войдут в меру, и я смогу спокойно выложить тебе все свои сокровенные мысли, но — увы, такого дня Господь мне не даёт. А посему — какой есть, такой есть. Как я себе надоел! Думаешь, кокетничаю? Ничуть.

Маша, нам надо расстаться, это продолжаться не может. Я занимаю место в твоей душе, даю надежду, но ничего не оправдываю из тех надежд. Брось меня, я сам не могу не думать о вас в бесплодной мечте, но нет, мне не оставить своей гнилой несчастной непутёвой безблагодатной жизни “столличной”.

Машенька, милая!

С Новым годом, дорогой наш Иван Батькович!

Человек ко всему привыкает, говорят. Мы тоже люди, тоже привыкаем, ибо живём не на солнце, на земле, и деваться нам некуда. Работы я снова лишилась, закрыли контору, в которой я мыла полы. А кушать хочется, между тем. Спасибо, Геннадий помог, не смогла отказаться. Надеюсь, на этот раз ты обойдёшься без скабрезностей, милый?

У нас нынче как-то особенно холодно, с промозглой сыростью, это тянет с реки, а за рекой болото, но ощущение такое, что с кладбища или сквозняком из тюрьмы. Наверное, нервное. Помнишь, ты читал вслух Лескова “Соборяне”: “И что это за стервы такие нервы, и почему их раньше не было?” Так что готовлюсь к смерти. Думаю, что тебе отписать в духовном завещании, не удумала, подкажи. Может, Петрушку самого? Не дождётесь!

А приезжай, ежели чего, рады будем, нам теперь всё равно.

Целую, Мария. С наступающим Рождеством!

Милая Мария!

Во-первых, спасибо тебе за письмо, я каждый раз удивляюсь, когда получаю его от тебя, потому что слишком ясно осознаю, что у тебя нет никаких обязательств, как это и должно быть в настоящей любви, которая свободна по самой своей сути. Ладно. Когда я вернусь к вам и поселюсь на огороде в заброшенном курятнике, а это произойдёт рано или поздно всё равно, то курятник этот (он же заброшен, верно?) я переделаю в крольчатник,

совершенно серьёзно, я всё обдумал, потрясающая идея, гениальная и про-стая, как колесо! Только сейчас я приехал с такого хозяйства, всё видел сам. Мария, это наше спасение, мы будем разводить кроликов, ушастиков, уса-тенных, прожорливых, а их помёт весь пойдёт на первоклассный навоз для огорода. Мясо и, главное, мех мы продаём, всегда сыты и здоровы, гостям рады и сами размножаемся в геометрической прогрессии. Зверёк неприхот-лив, мясо нежное, калорийное, экологически чистое, а чтоб мех был стой-кий, ноский, с блеском и пр., надо знать секрет. Он в Питере у одного ру-сака, уже есть номер телефона и адресок, он занимается этим всю жизнь, сам издал пособие с чертежами (очень важно, например, держать кролика на сухом, чтоб всё из-под них проваливалось на силос, и следить, чтоб не за-разились одним вирусом, об этом после, людям этот вирус не передаётся, а жуков твоих они всех мигом сощёлкают), с видеокассетами и проч., всё в комплекте, потом он приезжает лично с инспекцией и, убедившись, что всё ладно, дораскрывает секрет, причём объявил, что только таким же русакам, и за границу патент не даёт, всё про всё стоит всего \$200 вместе с инспек-цией. Заключает договор, берёт на гарантию и, в случае чего, выезжает еди-ным духом. Я абсолютно уверен в удаче: поначалу возьмём помощника или компаньона, сторожить сами будем! Целую, люблю вас безумно, соскучился страшно, верь мне, милая, ты самая-самая замечательная на свете женщи-на, лучше тебя разве что, может быть, только Солнце, и то потому только, что оно (он, она) дало тебе жизнь. Единственно, думаю, где занять баксы?  
Иван.

Братец Кролик!

Для того, чтобы заводить себе подобных, нужны не инструкции и клет-ки и хорошие соседи, а воля и целеустремлённость во что бы то ни стало до-вести дело если не до конца, то хотя бы до начала. Ничего этого у нас нет. Я же не собираюсь вытаскивать из-под твоих гетеросексуальных братьев, ес-ли вдруг не провалится само, ты с этим дело не имел, а я слишком хорошо знаю, и Петя не будет, он будущий астроном — любит глазеть на звёзды.

Так сказала бы я тебе, если бы ты был рядом, и если бы в этом возник-ла необходимость, но — нет! Ласковый ты мой, пушистенькой!

Устала. Мария.

Милая моя Мария!

А я сегодня видел Ельцина, вживе, на расстоянии вытянутой руки, та-кая нам выпала планида. Неужели же он снова выберется? Это живой труп. Он подряд несколько раз повторяет одно и то же, причём слово в слово, как бракованная пластинка, если бы не был свидетелем сам, не поверил бы. За-кончит фразу, обведёт всех вокруг стеклянным взглядом и говорит сначала, типа “у попа была собака”, но ведь не детские же игры играем, война идёт. А все вокруг улыбаются, ибо он ещё вроде как шутит при этом, делают вид, что так и надо, что ничего особенного, кивают, как китайские болванчики!

Не получится, говоришь, с кроликами? Не знаю, я серьёзно настроен. А как жить? Помнишь, в “Калине красной”: “Никем я не могу быть в этой жизни, только вором”? Ну, а я и вором не могу. Я скоро приеду, не могу я здесь больше. Примете? Привезу много ивановского ситцу, мне тут почти по-дарили на реализацию, почти ворованного, пересортировка или пересорти-ровщица, пересортица...

Для астронома Петра припас осколок метеорита, энергетический.  
Обнимаю крепко, Иван.

Милая Мария!

Твоя фотография предо мною, а под ней — свечи огарочек. Жди меня. А я снова в Чечне, по контракту, да, поехал за рублём, а что делать? Но, в действительности, должен же мужчина время от времени совершать муже-ственные поступки. Сегодня у меня сильно разболелась спина, радикулит, сколиоз и остеохондроз, всё сразу, меня оставили. Дышать нечем, воздух грязен, как поцелуй прокажённого, какая-то смесь нефтяной гари, порохо-

вого дыма, раскалённой взвешенной пыли, и липкая вдобавок словно какая-то. Спасаясь минеральной водой “Меркурий”, а из крана пить нельзя. Ключ к пониманию того, что здесь происходит — портрет Ленина, приклеенный к стеклу автобуса изнутри на маршруте в Грозном. И никто его не думает срывать, заметь. Потому что та революция их объявила людьми первого сорта. Не то чтоб уравнивая с русскими, а поднимая выше русских в каком-то смысле. А Сталин выслал в одночасье в казахские степи, и его они, конечно, ненавидят. Я грузина спросил: как они к ним относятся? Хорошо было, говорит, пока они в Абхазии не стали воевать против нас, грузин. То есть он тоже со своей колокольни судит. На улице встретил родного брата Хазбулатова, нёс абсолютную ахинею, набор учёных слов, горе от ума, причём поток был бесконечен. Пока мы его слушали, вокруг нас собралась толпа, в основном, подростки, и вот, когда он захлебнулся, наконец, собственным черноречием, они стали дружно галдеть все одновременно, как стая галок, и с трудом можно было понять одно: вами правят евреи и Америка, а вы, как бараны, выполняете слепо чужую волю, и ничего своего у вас не осталось, вы всё предали — и веру, и царя, и Родину, ваши женщины все проститутки, а мужчины — тряпки! Признаться, жутко было и стыдно. Нас не оплевали, не побили камнями, но я шёл, как оплыванный, а дома, в лагере что: пьют, воруют друг у друга, слушают жуткую музыку западную, чеченскую и “нашу”, смотрят ТВ, слушают Миткову, Сванидзе, Познера, матерятся без конца, плюют на пол... Если есть приличный человек, то почти наверняка — сектант...

Вот, моя милая девочка, видишь — яку гарну закорюку выдала рука казачка: это рядом разорвалась мина, а один тут новенький журналистишко, пока она с визгом падала, от страха под стол нырнул, чуть не перевернул всё на нашем скромном столе. Мы-то к минам этим уже успели попривыкнуть, это чаще имитация, на испуг берут, есть такие у них страшилки турецкого производства. А то ещё собаки, или, как сосед-поляк говорит — “псы” — рвутся на растяжках. А вообще-то говоря, я не встречал ещё от мирного населения явных проявлений враждебности. Неужели же они такие все скрытные и коварные? Не верится что-то, чтобы весь народ так гениально по-мхатовски играл роль, им тоже эта война как... Но когда мы вернулись с центрального рынка живыми, то нам сказали: “Повезло...” Потому как по два-три раза на неделю на рынке убивают в толпе русских в форме. Подойдут сзади и сунут перо в бок, и искать преступника (героя) — бесполезно. А мы в первый же день по незнанию попёрлись — крем покупать от загара: тут солнце кусается нещадно, словно оно (он) ближе на несколько млн км. Я обгорел, но уши пока на месте. На сегодня, пожалуй, всё, пора отбиваться.

Вас нежно целую и желаю всем нам победы, потому что “брань наша не ко плоти и крови, а с духами злобы поднебесной” (Ап. Павел).

Обнимаю крепко, люблю, как в последний раз.

Иван Лозовой.

Милая Мария!

От тебя ни ответа, ни привета, думаю, что и ты моего письма не получила. Бойцы бают, что письмам нашим кислород в обе стороны перекрывают, если там им хоть слово не понравилось. Поэтому это пересылаю с оказией из Ростова. Я всё же хотел тебе описать, как к нам Ельцин прилетал на вертолёт. Знаешь, “и бесплатно покажет кино...” Вот он и показал кино. Бесплатно. Он же заговаривается, Маш, он же уже давно не человек, зомби, биоробот. Или ещё что. Говорит с Завгаевым (это не значит — Заведующий Гаевым, а фамилия такая, Завгаев) и рассказывает ему, как был в Правобережной станице, и точь-в-точь одну и ту же фразу дословно повторяет по два-три раза. А если это подобие шутки, и все, начиная с Завгаева, должны в ответ смеяться, то вот и смеются по два-три раза кряду. При этом взгляд у самого хитрый и умный (про “злой” я уже не говорю, он нечеловеческий, по ту сторону добра и зла). Дурит он, что ли, всех? Надо тебе признаться, что я тут смалодушничал. Когда он шёл со свитой вдоль казарм, а я затесался промеж всяких, то чётко наши взгляды перекрестились. И я про-

тив своей воли не выдержал, криво так улыбнулся и кивнул: “Здравствуйте, мол, Борис Николаевич!” Конечно, вспоминается встреча... И главное, его взгляд поплыл без запинки дальше, не споткнувшись ни на ком, ни же на мне, грешном, и для меня тут загадка. Видел ли он меня? Я-то почему кивнул и улыбнулся? Именно потому, что мог не кивать и не улыбаться вполне безнаказанно, и тем самым его унижить по-человечески, он в этой ситуации более уязвим и незащищен. А это-то, с моей стороны, и была бы самая форменная подлость. И потому я сделал это по-общечеловечески, будто бы он не президент, а я не безработный, а так мы, два человека. Это я всё ещё должен додумать, а может, ты мне скажешь, что это было, ты ведь меня иногда лучше знаешь, чем я себя сам. Верно?

Тут многие, особенно мальчишки, кричат, что будут голосовать за Дудаева, и при этом смотрят с вызовом, что, мол, скажешь — мёртвый он или убит? Но я молчу, конечно. Хотите верить, что Дудаев жив? Пожалуйста. Ленин вон тоже жив.

Считают себя арийцами.

На сегодня всё, моя хорошая, люблю тебя, скучаю. Иван.

P.S. Ну, вот, не успел письма отправить, а уж СМИ сообщили, что вся Чечня проголосовала за Ельцина, 100%. Интереснее того, если вся Россия так же. Тогда можно будет сказать, что не Чечня — это Россия, а Россия — это Чечня.

P.P.S. Принимаю командирское решение — увольняться. Это здесь теперь единственный шанс получить хоть какие-нибудь деньги.

Вольноопределяющийся Лозовой.

Дорогой мой Иван!

Лето проходит, тебя нет. Пётр уже не спрашивает, когда ты приедешь, поэтому я и портрет твой с шифоньера сняла и убрала в ящик под бельё (ну, чтоб мягко, чтоб не подавилась). Ныне урожай яблок, на Яблочный Спас в соборе стоял запах, как в саду. Интересно, если мы с тобой и все — от Адама и Евы, то все эти яблоки, они от того, которое она дала ему? Варю варенье из твоего сахара, 50 на 50. Что в Чечне-то, а? Спасибо, что сообщил через Коло, что домой едешь, а не то бы я ещё мучилась, что ты ранен или в плену. Что ты жив, это я чувствую. Как же им не стыдно всем, особенно Лебедю? Тут у меня один знакомый, не буду называть имени, тоже контрактник, вернулся из Владикавказа из фильтрационного лагеря, говорит, что ничего не стоило их раздавить, но не дают. Это же болячка, которую замазали, а болезнь осталась, и проявит себя в другом месте, в самом неожиданном, и ещё сильнее. Это тут рядом Филипп Матвеевич живёт, бывший тюремщик, у него стал глаз гноиться, левый. Течёт из уголка слизь такая серая, все веки слиплись от ней. Дали ему софрадексу, прокапали пару раз, так гной перестал, а ухо оглохло. Пришёл давеча из поликлиники с диагнозом подострая тугоухость. Дырку заткнули, а хворь-то осталась, вылезла иначе.

Ой, Петька спит, а я пером скрябаю, он теперь со мной спит рядом. Вот я с ним лежу, и мы дышим в унисон, одним сердцем. Он мне так и сказал: “Мы с тобой, мама, одно”. Представляешь? А то он вскрикивать стал во сне, и ещё мочиться иногда. Так я на его краешке клеёночку стелю под простынь, а что ж делать? После того случая с каракуртом я думаю, что уж лучше пусть он, поганый, меня ест, чем Петьку, я девка съедобная. А правда, что нашли следы разумной жизни за пределами солнечной галактики? Филипп Матвеевич читал, что наши учёные расковыряли метеорит какой-то австралийский и нашли там окаменевшие бактерии. И никто об этом не говорит, а всё о том, с кем живёт Боря Моисеев. Зачем это так? Послушаешь вас, так вся страна только и делает, что веселится, и одни мы тут прозябаем под дождём, а ведь всё наоборот, Ваня, и народ всё знает, но терпит так потому, что сильно его обманули и запугали. Бабки тут шли с кладбища мимо и совещались, и решили, что вся эта перестройка — это провокация, а потом, кто много говорит, обратно будут сажать, мучить и расстреливать без суда, тройками. Так и говорят. А может, просто какое лекарство изобретут, чтоб все вымерли, и заселят китайцами? Или нидерландцами, например. Вон до чего договорились.



У меня работы нет и не предвидится. Стыдно просить, но если что, так ты бы прислал нам чего ни то, мы отбатрачим. Или на варенье поменяемся, а когда скиснет, так я его на брагу переделаю легко или самогон, могу даже два раза прогнать для верности.

Целую, Маша.

Привет из солнечной Абхазии!

Совершенно случайно, в последний момент друзья пригласили меня с собой в эту сумасшедшую поездку, в отчаянную попытку провести две недели на море, как в старые добрые времена. Мы дико путешествуем на двух машинах, и мне это почти ничего не стоит в деревянных. К тому же обратно наш маршрут пройдёт по направлению Сочи—Краснодар—Ростов—Воронеж—Москва, и это будет совсем рядом с тобой, и я намерен дать ходу с трассы на сторону, то есть к вам, хоть автостопом. Самый приколом был, как мы пересекали границу. Представь, я переходил её вброд через реку Псоу ниже нашего пограничного пункта контроля, а мужики мои по фальшивым справкам и телеграммам: дескать, у кого-то в Сухуми умирает отец или у кого-то продаётся недвижимость и т. д. Только женщин пропускают свободно, но, поверь, среди нас их почти нет! Погода — как на туристической открытке, но само зрелище — из фантастической жизни, из сна, особенно по сравнению с тем, что было здесь раньше. Как вымерло всё после чумы. Собственно, во многом так оно и есть, ведь тут прошла самая настоящая война, с мародёрством, насилием, смертями и пожарами. Вообще-то, непонятно, как они тут существуют.

В Сухуми видел на улицах обезьян, они разбежались из известного питомника. Были на даче Сталина, не той, что на Рице, ту благополучно сожгли, а под Гаграми, вернее, над ними, ощущение занятое. Мне даже показали гвоздь, который он велел вбить в одной из гостиных, чтобы вешать на него свой картуз, когда он садился читать газеты. Там всю жизнь работает, с послевоенного 46-го года, дядя Коля. Я ему свои часики подарил старые, так он уж счастлив: пять лет без часов ходил. Говорит, что Сталин не любил, когда ему подавали обед в тарелках, а велел приносить в кастрюльках, а он уж сам раскладывал. А чай ходил пить в другое место, в сторожку на скалистом берегу Холодной речки. В этой речке, действительно очень холодной, водится форель, но однажды она была красной от крови! И это в то время, когда мы с Лёней Голубковым обивали пороги МММ... Дача стоит в реликтовом сосновом бору высоко над морем, и эти сосны тоже многие обуглены, тоже от войны. Вообще чудо, что многое уцелело. Басев-то со своими отрядами пришёл с гор, с перевала, таёжными тропами. И нагрянул на эту дачу среди ночи. Везде зажгли свет, он долго ходил, осматривал всё, долго стоял и думал, затем дал отмашку, и они пошли вниз, в Гагры. А мог и уничтожить.

Вино на пляже продают дешёвое, но нехорошее, кислое, как уксус, пьём водку из багажника. Подумать только, что это граница Тмутараканского княжества и Киевской Руси! Ты знала об этом? Я — нет. Жаль, что нет вас с Петькой, я бы учил его плавать... Ловили рыбу с баркаса на крючки, под копчение. Полный штиль, а меня укачало, похоже, что от нестерпимого блеска воды на солнце, и, пардон, стошнило... Пустые пляжи, пустые кабинки, брошенные шезлонги (лонгшезы), дома стоят, как после взрыва нейтронной бомбы. Знаешь, мне даже слышались голоса, особенно детские. Страшно, если вся страна вот так постепенно превратится в такую пустыню. Думаешь, нет? А если — да, то что будет? Новая жизнь? Может быть, и на Луне когда-то жили. Я смотрю на Луну над морем и по лунной дорожке — к тебе. Ты меня ещё любишь? Нет?

Твой Иван.

P.S. Сейчас смотрели телевизор в пацхе дядюшки Амираана, опять в Чечне боевики взяли верх, я ничего не понимаю: как это возможно? Только неделю назад я беседовал с одним полковником, который рассказывал мне, что под Грозным стоит чуть ли не вся постсоветская армия! Иногда мне думается, что если бы не это чудовище Сталин, то нас бы давно уже не было на

этой земле. Полное отсутствие воли. За что это наказание? За отход от Христа, за предательство царя или — наоборот — мы слишком забыли своё древнее, уходящее к началу истории национальное единство? Надо учиться у чеченцев? Кстати, здесь поголовно все хотели бы, чтобы Абхазия вошла в состав России. Если бы мы были такими плохими, как нас представляют всему миру, стали бы они хотеть к нам?

Я привезу вам много эвкалиптовых веников для бани и лаврового листа для супа, здесь всё это растёт в изобилии на полках природы. Я люблю тебя, Мария, ты всё-таки самая замечательная женщина из всех, кого я встречал в этой жизни. И самая красивая, я вдруг это понял. Самая милая, милая моя Мария! А Петрушка у нас просто молодец, я ему привезу живую медузу в банке.

Ваш дикарь-полуфабрикат.

Дорогой мой Иван!

С утра долго не вставала, всё смотрела в чистое окно на полоску света в облаках и вдруг поняла разницу во всём в жизни плохом и хорошем, добром и злом. Вот ведь и вечером, перед закатом и мраком — точно же такая бывает полоса в небе, но вся-то суть в том, что эта, утренняя, будет расти, увеличиваться, и всё будет просыпаться, и птицы петь, а там — всё наоборот, и потому смысл этим двум светам обратно противоположный даже, а внешне-то они близнецы... Но разница в движении и во времени, в его длительности, а не мгновенности, или в движении времени или во времени движения. Вот два человека похожих, а они разные, один утренний, а другой — вечерний. И так во всём. Встала и написала вот тебе, а может — сгоряча, сперва бы ещё подумать надо. Вот ты уехал: думаешь, и правильно сделал? А мне в жизни так хорошо не было, как в эти восемь дней, и Петя-то стал как-то лучше, спокойнее, у него даже язвочки зарубцевались. Вот ты, оказывается, какой можешь быть, ласковый, трезвый, и руками-то ты делать всё умеешь, и крылечко мне починил, хоть бы и не в одиночку, и дверь в сортир, и забор... Да я даже после всего этого готова тебя отпускать на море хоть каждые полгода, хоть бы даже и “почти без женщин”. Было бы тебе зачем ехать в Москву эту вашу, да разве же бы я против? Езжай себе на здоровье, да только пустое это всё, толку не будет никакого, съест тебя эта Москва, опять запьёшь или хуже — напьёшься до какой-нибудь новой истории, которую будешь потом расхлёбывать целый год, каяться, переживать мучительно, кинешься в другую крайность, в монастырь какой-нибудь, а там и рады, давай на нём воду возить. Ой, ведь чо, опять слёзы мне, горемычной, за что я такая несчастная? А ведь эти дни я с тобой счастлива была. Это как? Напиши хоть скорей, не томи душу.

Маша.

Мария!

Прошу тебя дочитать это письмо до конца. Долго не мог написать тебе и надеялся, что, нет, не так. Ты, верно, догадалась, что происходит, раз я молчу и не еду, да, то и произошло, я женюсь, через 6 месяцев у неё будет ребёнок, я уверен, что от меня, хотя я был с ней всего один раз, почти случайно, понимаешь? И я узнал об этом тоже почти случайно, потому что ничего случайного не бывает, если мы верим. Рождество мы встретили в монастыре, где, можно сказать, совершилась помолвка, потому что в монастырях не венчают. Над нами прочитали молебен об умножении любви. Я был у неё дома, познакомился с родителями, папа замечательный человек, ветеран, разведчик... Всё это безумно тяжело, потому что я люблю тебя. Но так вышло. Я очень виноват перед тобой и перед Петечкой, и прошу у него прощения, не теперь, но когда он поймёт. Очень хочу вас видеть.

Иван.

Здравствуйте, Иван!

Пишет вам простая русская женщина из глубинки, бывшая учительница начальных классов Мария Иноземцева. Я знаю, что вы интересуетесь народ-

ной жизнью, а потому и решилась в свободное от поисков работы время написать вам это письмо. У нас, конечно, ничего особенно интересного, окромя пьяных драк на неосвещённых улицах, не происходит...

А насчёт того — ты это зря, я к цыганке ходила, она мне сказала, что никого у тебя нет, кроме нас с Петрушей.

Так что, привет!

Мария, милая моя Мария!

Час назад получил твоё письмо, о чём и не чаял уже, а ты так просто — взяла и написала, пусть ерунду какую-то, чушь, тем лучше. Спасибо тебе, ты всё знаешь, всё видишь, всё чувствуешь, и не надо тебе никакой гадалки, нет! Я снова на бабах, так пусто, так страшно после её аборта, о котором, верь, я знать не знал и ведать не ведал, и может, что она сделала и правильно, раз не было любви, но нет, она убила себя, убила меня ещё раз, потому что через это всё становится бессмысленным и случайным, и жизнь вообще, и даже эти письма и любое проявление сострадания и человечности. Как горько, как тяжело и безрадостно жить! Молюсь, конечно, но не чувствую ничего, смотрю на пламя свечи и вижу твои глаза, а в них этот свечи огонёк отражается. Маруся, бедная моя, ласковая моя девочка, прости меня!

Ваня.

Дорогой мой Ваня!

Письмо твоё покаянное получили, спасибо за искренность, за тёплые слова. Устроилась на работу, но через три дня предприятие остановилось, и главный бухгалтер мне выписал справку об этом, с этой справкой я ходила в Сберкасса, и мне по ней разрешили не платить просроченную квартплату, так как я боялась, что отключат электричество. Петя проболел всю зиму и сейчас простудой и гриппом, я его лечу бабушкиными средствами, но, может быть, нужны антибиотики, витамины. Может быть, ты обратился бы на свою фармацевтическую фабрику, если её ещё не закрыли, и у тебя там действительно есть друзья. Варенья яблочного много, это моя единственная валюта, не считая твоего самогона. Икону “Спорительница хлебов” мне написали за кольцо очень хорошо. Перед ней теперь всегда теплится лампадка. Фото твоё из шифоньера я достала и поставила рядком. Для Пети ты теперь такая же древняя история, как гражданская война, реагирует спокойно. Сестра пошла на курсы массажисток, платные, но ей сделали в долг. Только массажировать за деньги у нас в городе некого, разве что будет ездить в область. Всё ждём чего-то, но слава Богу, что ни автобусы, ни рынок не взрываются, и то ладно.

Пиши — как ты?

М.

Здравствуй, Маша!

Хотел приехать, но теперь мне стало сложнее, устроился санитаром за 200 тысяч в месяц плюс разные премии и надбавки, итого около пятисот. Это очень мало, но мне нужны живые деньги, платить по счетам, помогать брату, а главное, нужен режим, иначе я сяду. Кормят меня на кухне бесплатно, что остаётся от больных. Иногда ем от пуза, иногда один хлеб с молоком. Причин, по которым именно сюда я попал — три. Здесь она сделала аборт, второе — благословение батюшки. Конечно, всё это временно, но — как и всё в жизни. Иду на службу, тянуть свою лямку.

Ваш медбрат Иван Осипович Лозовой.

Ваня! Дорогой!

Что я натворила, Ванечка, я сошла с ума, но сейчас я совершенно счастлива. Я купила ребёнка, девочку пяти месяцев, на вокзале, когда встречала поезд с твоими лекарствами. Со мной был Петя (я боюсь оставлять его одного), и вот одна женщина, правда — пьяная, продавала его цыганке. Всего за 200 тысяч и бутылку водки. У меня с собой было 230 тысяч, потом объясню — почему, не моих, считай, денег, сестриных, и я... перекупила.

Чего это мне всё стоило! Цыганка грозит проклятием, но во мне тем более решимости, а эта видит, что я с ребёнком, и со слезами, конечно, но мне отдаёт. Я, говорит, вот и записочку заготовила с адресом, что претензий не имею, добровольно отдаю. И уезжает тем же поездом. Я ей всё отдала, домой добирались на двух автобусах, с пересадкой, но уже втроём — я, Пётр и Феврония, я её так хочу назвать в честь святых Муромских, а ты, Ваня, ведь тоже хотел девочку, да?

Хорошенькая такая, а худенькая! В чём душа держится? Жалко, что у меня теперь молока нет, конечно, но докторша говорит, что если грудь давать, то может пойти. Петя очень обрадовался, он мне даже помогает с ней возиться, носит, чего попрошу, и лекарства ему твои впрок пошли, спасибо. А цыган я не боюсь, сам знаешь. У меня есть икона “Спорительница хлебов”, так я на неё смотрю и думаю: вот, к прибавлению урожая она в дом наш вошла. Только сомневаюсь: правильно ли я поступила? Но у меня адрес есть, думаешь — ненастоящий!? Надо бы написать, но пока повременю. Я ещё не знаю, как это всё обставить официально, наверное, придётся давать взятку. Но я знаю точно, что на попятную не пойду. Она бы отдала Верочку цыганке или кому ни то за пару бутылок, ведь у неё в вагоне сидели ещё двое чуть постарше. Ваня, скажи, что я была права, мне нужна сейчас чья-то поддержка.

Феврония-Верочка вошла в дом, и лик Богородицы на иконе будто ещё просветлел. Ты бы видел, как оживился в эти дни Петрушка. Живём, Ванечка!

Целую! М.

Дорогая моя милая Мария, единственная, здравствуй!

Я совершенно потрясён твоим самоотверженным и одновременно таким естественным для тебя поступком, и рад за тебя, за Петю какой-то глупой щенячьей радостью, и снова чувствую себя перед тобой полным идиотом, но это последнее, конечно, не имеет никакого значения. Я тут каждое утро вижу очередь девушек-женщин, пришедших на искусственное прерывание беременности, и мне очень хочется подойти, взять за руку и сказать... И я стесняюсь, в полном смысле слова, как подросток, я не смею, не имею права, я... Я думаю, впрочем, что есть и доля моя в твоём решении, но что — я? Ты — чудо, я люблю тебя одну, и всегда говорил это, и не только говорил, ты знаешь.

Когда крестины Февронии? Я в восторге от её имени, от Веры, её уменьшительного, тоже.

Ваш Иван.

Дорогой Иван!

Здравствуй! Мне тревожно от сообщения о заражённом коровьем мясе. Ты привозил последний раз сосиски, не помнишь — они с какого завода были? Сестра вот вычитала, что заразное было с Черкизовского, у нас в городе с него сосисок не было, а ты привозил, не помнишь? Я тебе вырезку из газеты прикладываю. И ещё одну, про боксёра-негра Тайсона, который укусил своего противника за ухо. Он же ведь знал, наверное, что его за это лишат приза в 30 млн долларов, а укусил. Ты говорил: дай негру палец — он всю руку откусит. Но ты в смысле высокомерном говорил, а сами бы мы вот так отказать от таких денег, чтобы только досадить сопернику, решились бы? Так что надо бы тебе быть поскромнее, не гневить Бога. Прости, если я, простая русская баба, чего не так поняла, а только я за всех переживаю и хочу, чтобы ты был у меня самым лучшим. Феврония тебе шлёт воздушный поцелуй, а Петя — их двоих парный портрет твоими фломастерами.

Целую, Маша.

Ванечка, милый!

Сижку и обливаюсь слезами по ничтожнейшему такому поводу, но, видно, это была последняя капля. Пишу тебе как своему родному человеку. И прошу заступиться за меня, дуру бестолковую, именно потому, что никог-

да в жизни никого не просила, а всегда только полагалась на свои силы. К тому же ты когда задумывал таблетками торговать, то, наверное, подна-торел в премудрости этой торговли или уж во всяком случае хоть какие-нибудь знания в этой области да приобрёл. У меня давно уж начались проблемы с фиброзно-кистозной мастопатией, я наблюдалась у врача-гинеколога по месту жительства, но сейчас она умерла, а принимает новая. Та, Таисия, царствие ей небесное, направляла меня в Москву (я про тебя ей сказывала) в маммологический центр, где занимаются исключительно грудью. Ну, вот, я стала собирать бумаги для направления и пришла к этой новой, не хочу даже поминать. Она говорит: чего вы будете тратиться? Мне, как специалисту, и так всё ясно с вашим заболеванием, и там вам ничего нового не расскажут, в этом центре, а только зря проездите и намотаетесь с двумя детьми. Купите лучше у нас чудодейственное средство всего за 130 тысяч, от всего поможет. Противопоказаний никаких, а пользы много. Я, главное дело, так и ахнула, потому что у меня дома как раз 120 тысяч лежало, а десять с собой было. Мы с Петей грибов удачно насобирали и продали у дороги. “Идите, — говорит, — принесите, я подожду, а то у меня последняя осталась, а мне вам очень хочется помочь, вы женщина ещё молодая и красивая, вас жалко”. Я как безумная помчалась туда-сюда, ещё и Петю оставила сидеть её караулить, как заложника. Вернулась, покушаю у ней, у самой руки трясутся, жалко с деньгами расставаться, и то жалко, что не будет уже причины к тебе в Москву ездить, а та ещё говорит: “Берите-берите, нигде его дешевле не купите, у нас без посредников”. Я и не подумала, что она мне чека не дала. Дома успокоилась, гляжу — никакой подписи нигде по-русски не сделано, только что разные травы нарисованы, и общая надпись мне ясна: “Natures way”, натурально, значит, на травах, то есть. Ладно. Но вот сегодня зашла в аптеку за пипеткой для маленькой, куда-то старая задевалась, а оно там стоит за 40 тысяч, я как зареву белугой, побежала в диспансер, а той врачихи нет, у заведующего очередь, да что он скажет, Гаврила Суренных, сам знаешь, правды не добиться, сама виновата, скажет. И мне так обидно, Ваня, так больно, и главное, что от нервов ещё больше болячки разболелись. Уж мне кажется, что тебя они послушают, хотя деньги вернут, я им пузырёк с таблетками назад отдам, я ведь его даже не раскрывала. Сейчас отправлю, иначе порву.

Маша.

P.S. Пришла на почту, а на дверях снова красуется листовка с портретом “Мария Дэви Христос”, наше “Белое братство” всё клеит, помнишь, мы с тобой говорили? Выпустили её на свободу, а скольких она до самоубийства довела! Наверное, Дэви — это дьявол, нет? Говорят, конец скоро. А как же иначе? Это они в пику москалям, да? Она где-то в Днепропетровске сидела, а теперь в Киеве воцарилась. Ваня, помолишь обо мне, поставь свечечку целителю Пантелеймону, у меня от всего крыша едет. И как жить? Тяжело мне что-то, надорвалась я, а ещё пожить так хочется! С Февроньюшкой проблемы, из милиции приходили, меня дома не было, Петя через дверь им много не сказал, но они всё допытывались у него — сестрёнка она ему или нет? Ничего не сказал. “Боец растёт”, — как бы его крёстный сказал. Ну, целую, ты шибко-то не расстраивайся, переживём как-нибудь и это, только бы ты не пил.

С наступающим Яблочным Спасом—Преображением! Нынче малины много, а про яблоки уж всё и так знаешь. “Яблоко надень — и доктор не надобен”.

Милая моя Мария, здравствуй!

Снова осень, снова наш позолоченный сентябрь, в котором когда-то очень давно, лет восемь назад, я написал тебе первое письмо. Нынче соби-рался выехать к вам (за яблоками!) на машине друга, но случилось несчастье, его хорошая знакомая артистка Лена Майорова трагически погибла, облила себя чем-то и подожгла. Она бежала горящим факелом по двору дома по улице Горького (Тверской) и кричала “спасите!” Говорят, она облила свои густые волосы маслом из лампадки. Это — самоубийство, о котором она

говорила раньше задолго. Серёга, мой товарищ, беседовал с ней об этом её страшном намерении не раз, но никто не думал, что она действительно на это решится. Думаю, она играла с огнём, со смертью, и сама не верила в то, что делает. Детей у неё не было, хотя были мужья. Довели её до смерти цинизм и пошлость, всё то, что цветёт пышным цветом в первопрестольной всюду вокруг, а в её театре особенно. Убийцы стояли у гроба руки в карманах и, покачиваясь на пятках, считали уместным острить в своём прощальном слове, а не просить прощения, называть её Ленкой и осуждать за плохой поступок.

Ещё бы, накануне открытия сезона им придётся делать сразу несколько вводов на её роли. Говорят, что очередная любовница главного уже согласилась играть и даже сыграла сегодня. Огромное количество текста она знала уже заранее. Ой, я сплетничаю, кажется, простите оглашенного! Но тем не менее. Гроб с телом был поставлен в углу фойе, в самом непотребном тёмном месте, и я боялся взглянуть на лицо, оно было словно собрано в одном последнем крике, покрытое последним гримом, но всё равно заострённое, как игла, прикрытая тонкой вуалью. С новолетием вас, господа реформаторы!

Мария! Прости, что я о грустном. Ты — молодец, ты трудишься, ты боишься, живёшь и даёшь жизнь другим. Я всегда с тобой, мысленно душой и даже тщедушным своим телом, особенно — сердцем. Поверь мне, что оно всё так же равнодушно, горячо и ало. Я всех вас люблю, целую и буду скоро всенепременно. Во что бы то ни стало!

Иван.

Дорогой Иван, здравствуй!

Итак, уже на дворе ноябрь, ну, можно сказать — завтра. Также можно сказать, что завтра — холодная бесприютная старость...

У меня Февронию, конечно же, забрали. Пришли простые такие наши русские парни, сукном запахло, как ты любил выражаться, и забрали. Спасибо, что оставили нам Петрушку и самое меня. Я даже ничего не сопротивлялась, а только молилась Богородице, я ждала этого, что заберут. Полюбому не буду ничего объяснять. Я целыми днями теперь лежу на постели и чувствую, как холод проникает в меня отовсюду: из щелей в полу, с заиндевевших брёвен, с дрожащего стекла моего тусклого окошка, а внутри словно вырезали что-то, душу, ребёнка, сердце. Ведь у меня ту неделю молоко пошло.

Петя рассказывает мне сказки вслух наизусть по картинкам, как я ему когда-то читала, тем и спасаемся. Приедь, если хочешь, мне всё равно.

Мария.

Милая моя Мария!

Вы не замёрзли? У нас тут, в Сибири, мороз страшный, настоящий, я впервые своими глазами увидел, как столбик на термометре опустился до 44-х! Сначала не поверил: как это? Даже местные удивляются. Интересно, что жизнь сразу стала русская, даже модницы ходят в длинных юбках под шубой, опустив уши меховых шапок или густо обвязавшись серыми оренбургскими платками. Никто не бухтит, не матерится даже: слова замерзают на лету. Только слышно, как отчаянно громко, с отяжкой скрипит сухой снег под валенками, от которых у всех походка сделалась мягкая и смешно косолапая. Щёки розовые, ресницы белые, глаза блестят, на усах у мужиков сосульки, все ходят торопко, делово, не курят, не сплёвывают тоскливо на углу и ни пиво не тянут, ни колу, красота! Мне очень нравится, всегда бы так! Чисто. Весело. И как-то люди от мороза дружнее. Хорошо, что у нас в России четыре времени года, от этого душа богаче и язык. Больше впечатлений, разнообразия, а значит — образов.

Не ругайся, на Новый год посылаю вам посылку, кедровые орешки чищенные, лущёные, и Петьке шапку корсакову рыжую, это степная лиса такая — корсак. На рынке тут китайцы и корейцы торгуют всем очень дешево. Правда, боюсь, что дешевизна эта нам в будущем дорого вельми обойдётся, они плодятся простым делением и почему-то селятся всё вокруг воинской части ПВО. Ну, да Бог не выдаст, свинья не съест. А валенки я потом само-

лично привезу, с галошами, чтоб по вашему чернозёму ходить не тошко было. Ну, чего ли — целую крепко, напиши до востребования, я тут ещё месяц буду. Адрес на конверте.

И. О. Лозовой.

Дорогой Иван!

Спасибо за письмо и за орешки и шапку — если придут, ещё не получили, а я спешу ответить сразу, чтоб ты успел получить, согреть тебя тёплым словом, если я и впрямь ещё тебе мила.

Еле пережила потерю Февроньюшки, а тут ещё Петя заболел ушками, простыл, а я ему капала капли из гуманитарной помощи, и они оказались какие-то не такие, с сильным антибиотиком, а надо было 4% (как у Лужкова) раствором борного спирта. Но он не плачет, а всё про корсака спрашивает, и про китайцев, даже пришлось его на наш рынок вести их показывать. Так что ты готовь новые охотничьи рассказы. У нас снег идёт, всё как в сказке, словно стеной стоит в воздухе, тихо, тепло, светло так от снега на дворе, уютно. Дров у нас нынче хватает, мне новый начальник тюрьмы помог. Оказалось, что их ограда последняя (их несколько рядов) по моему участку на плане проходит, и мне помощь полагается, как пограничнице. Вот, всё, кажется. Скучаю, целую!

М.

Милая Мария! Пётр!

Никто не поверит, и вы в том числе, но больше мне поведать некому. Сейчас, когда я брожу по городу и вижу повсюду следы чудовищного бурелома и слышу рассказы очевидцев, мне несколько легче, а в тот страшный час испытаний я думал, что всё это приключилось лишь со мной одним за мои грехи, богохульство, неверие, уныние, предательство, ложь и лень... Может, уже и до вас слухи докатились, уж наверное, докатились, не считая, конечно, СМИ, о небывалом допрежь того в столице урагане. Как не докаться, когда столько покалечило, изуродовало, поубивало даже. Чудом и я жив остался, но даже и это не главное — кирпич на голову в любой момент упасть может, у моей первой жены дядю убило кирпичом с крыши, причём времена ещё были строгие, сталинские, а он инженером на радио работал, стали докапываться, что и как, и кого-то даже через то чуть не посадили, но доказали-таки, что просто так сам камень от ветхости дореволюционного здания отвалился от карниза. Тогда здание снесли, вроде как к высшей мере наказания его... Отвлёкся я не по делу.

Это был страшный сон, Мария! В этот вечер я решил ехать к вам, собрал рюкзачок и на дорожку пошёл в храм ко всенощной помолиться у особо чтимого образа Николая Чудотворца — святителя Мир Ликийских, великого угодника Божия: “Путешествующим спутешествуй”. Потом на кладбище пошёл, и сколько я там времени провёл — точно не знаю, часов наручных у меня уже давно нет, но только что я обратно засобирался, тут оно и началось. И надо такому случиться, что я в те минуты стоял у могилы Николая Васильевича Гоголя: “Горьким своим смехом посмеюся”. Я ведь всегда за него молюсь, когда мимо бываю. Зашумело, зашумело, вдруг мощный порыв ветра, как нам представлялось всегда цунами, и я инстинктивно ухватился за оградку, но от страха чувствую, что руки мои по-детски слабые такие, и вторым порывом меня отбросило к стене с урнами праха в нишах, к колумбарии, значит...

Нашли меня мусорщики утром в мусорном баке, когда вываливали из него в свою жуткую машину, вытянули за ноги. Теперь я на больничной койке, у меня сотрясение мозга, не тяжёлое, но тошнит конкретно и жёлтые круги перед глазами, вывихнуты обе ноги в ступнях, где щиколотки, связки растянуты, и на локте ушиб на левом, сейчас рука в гипсе и очень чешется, но правой вот пишу. Адрес не даю, не приезжай, у тебя на хлеб нет, не то что... Выплеснулось, теперь полегче стало. Тут кто что про тот грозный час испытаний рассказывает, и это уже был бы комедийный рассказ, но говорят, что кресты чтоб с храмов слетали, такое только в одном месте было, а имен-

но на Новодевичьем. То-то мне казалось, что всё это только со мной одним происходит. Целую крепко.

Ваня Л.

Дорогой мой Иван!

Вот уж и Троица, наломали с Петрушкой веток берёзовых и наполнили весь дом красотой и свежестью, листочки потихоньку вянут, и идёт во все уголки нашей хаты благоухание. Ванечка, как же ты, милый мой, в такой переплёт попал? Я твоё письмо давно получила, да и поехала бы, если б знать — куда? Ну, думаю, уж не приукрасил ли чего лишнего, даже боюсь спрашивать, а может, ты вправду умом тронулся, нет? Опять же — огород у меня, а летний день год кормит. Петя занят прополкой и поливом петрушки, я объяснила ему, что они одного корня. Сшила себе новое платье, идти в нём некуда. Постелю газетку, сяду на порог и смотрю на дорогу, не покажется ли где в лёгком облачке пыли отставной капитан товарищ Лозовой? Нет, все ожидания наши напрасны. Двери и все замки затворяю теперь рано, боюсь повторения столичного урагана, даже взялась за починку ставней, я ими уж лет пять не пользовалась. У нас тут у Паши Крикуновой в этот страшный вечер в Москве муж пропал, но соседки бают, что просто сбежал он от неё. Это, правда, чаще случается. Приходили раз сектанты, “свободная церковь Иисуса”, брошюрку цветную всучили, там такое всё, ой, как в мультике, овцы со львами обнимаются, винограды сами в рот растут. А сектанты зырк-зырк по углам, я на твою карточку и говорю: “Это муж, скоро будет”. “Когда скоро?” — спрашивают. “Скоро, — отвечаю, — вот он уже, может, идёт, свист слышу!” Так их как ветром сдуло. Много же вас, думаю, а церковь одна. Я права или нет, а может быть — наш русский Бог не Христос, я ведь необразованная, а мне один на вокзале рассказывал, что Он только пророк, и евреи Его распяли, а написали в книгах, что Он тоже еврей, только чтоб себя возвеличить, а на самом деле Он из Индии пришёл, а мы с Индией родственники. Это как? Но я всё равно в Богородицу верую и во всех святых, особенно в Сергия Радонежского и в Николая, не зря же он тебя спас нынче? Я ведь до конца всего не знаю, надо сердцем чувствовать, где правды больше, верно? Мы ведь, люди, в этих вопросах, как малые дети в малом. Соседкин мальчик с Петькой играет, бутылку с водой ему не отдаёт, под мышку и в сторону, а сам кричит на всю округу: “дам, дам, дам!” Сначала я не поняла, а потом и врубилась, он же “не дам” сказать ещё не может, сложно ему. Так и мы, человечество, чего-то чувствуем, чего-то думаем, а выразить не можем. Нет разве? Я не права? Это мне приятно, конечно, что ты к нам с рюкзачком собирался (интересно страшно — а что в нём было), но уж пора и новый заводить, а не то я и сошью вон из парусины, ты только едь.

Дефолт, Маша, всё отменяется, хожу по оптовым рынкам, ищу, где дешевле, покупаю ни много ни мало, чтоб хватило нам всем на год: крупу, гречку, рис, сахар, подсолнечное масло, консервы. Принесу, сложу на антресоль, денег перезайму и снова на рынок. Ящик водки приобрёл на заводе “Кристалл” на Самокатной, разной, и тебе отдельно ликёра и наливки. Ты не ругайся, водка — это наша национальная валюта, твёрдая, хоть и пьётся, на неё чего хочешь выменять можно, голодным не останешься всяко. Цены сразу взвинтили, но говорят, что ещё дороже будет. Иногда по два-три раза на день ценники перевешивают. Иногда же очень выгодно покупать, когда цены старые, а магазин по статусу не имеет права их переменять. Я купил несколько пар перчаток кожаных на синтепоне, пену строительную в баллончиках, ещё кое-что по мелочам, лампочки электрические, бумагу туалетную, оно ведь всегда понадобится.

Маша! Единственный мой и, если позволительно сказать, — наш источник дохода, комната, которую я сдаю пивнику, уменьшился ровно вдвое, это везде у всех, с октября он будет платить мне за неё вдвое меньше, а не хочешь, заявил, съеду. Имею право, потому что дефолт — это форсмажорные обстоятельства, вроде революции, чёрт бы их всех побрал, в самом деле! Поэтому мне надо найти ещё хоть какой-нибудь заработок, пока же я взялась



разносить рекламу по подъездам, но это временно, чтоб отдать кое-какие долги. Попроси Петю нарисовать мне козлика, и пусть не капризничает, скажи — очень нужно.

Целую, люблю. Иван.

Ты нас целуешь и любишь, но мы этого не чувствуем, козлик. Ты теперь вместо “здравствуйте” говоришь “дефолт”, мы тоже здороваться не будем. У нашего мэра от дефолта поехала крыша, и он решил снова ввести плату за автобус. Но история, как ты говаривал, повторяется. Наши простые постсоветские мужики взяли первых же контролёров вежливо под мышки и высадили на обочину прямо на ходу, водитель при этом “ничего не видел”, только случайно забыл закрыть двери, когда перед тем отъезжал от остановки. В противном случае его бы самого заменили за баранкой, безработных трактористов из деревни у нас хватает, собирают пустые бутылки по помойкам. Была бы я, Ваня, помоложе, ездила бы в Москву на Тверскую, но такая я уже кому нужна? Даже тебе, моему дорогому козлику, не мила. Письмо это — сжечь, а рисунок в рамку и на стену, можно в комнату к пивнику, пусть лобуется на портрет квартиросдателя.

Обнимаю, М.

Милая Мария!

С наступающим вас Новым годом! Вся эта сволочь так и старается изобразить, то есть начертать эту цифирь перевернуто, в виде отражений разных, чтобы получилось три шестёрки. И звезду рождественскую всюду стараются сделать шестиконечною, а она ведь не ветхозаветная, она звезда будущего, два креста, осмиконечная наша. Ну, ты прости, я опять за старое, ты этого не любишь, ну, а мне, если честно, тоже уже всё равно. Я тут даже повеситься хотел, но не решился, а пьяный стал переходить улицу туда-сюда, на волно Божью, чтоб меня машина сбила или не сбила. Фаталист. Спасибо шоферам, хорошие ребята попались, морду набили в самую меру, чтоб мне, значит, и жить захотелось, и чтоб ещё для свадьбы сгодилось. Тот ящик водки, как ты понимаешь, я сразу весь выпил (одну бутылочку вишнёвой наливки тебе оставил), с работы меня тогда выгнали, и даже за ту неделю, что я отработал, не заплатили, пивник обанкротился, съехал, оставив кучу международных телефонных счетов не оплаченных, которые с лихвой перекрывают всё то, что он заплатил мне за полгода. Прикинь, теперь телефон отключили, и соседи на меня в суд подают. За окном — ни дождь, ни снег, какие-то мелкие льдинки прыгают с ветки на подоконник, подпрыгивают, как блохи или бесенята насекомные. Я живу в параллельном мире, Мария, и теперь уж, наверное, мне всё равно, где — в столице или в городе N. Так что скоро съеду, а пока наши товарищи определили меня в музей художника Константина Васильева, тут, знаешь, добрые русские люди, но они как бы всё по-своему понимают. Сутки работать, трое, прости, отдыхать. Ночами хожу по двору, там деревья страшно шумят, пёс со мной ковыляет, дряхлый и беззубый; станет не по себе, я скорее в дом, а там ещё страшнее от васьевских картин, и мне всё кажется, что он меня видит. И выпить-то особенно не на что, маюсь.

Бедный Петя. Как ему-то помочь выжить, какой я папа, смех один. Где найти силы? Дожить бы хоть до Пасхи!

Пишу, а он смотрит, Васильев. Он ведь некрещёный был, и за что только его татары убили? Под казанский поезд бросили, он на свою первую выставку собрался ехать... А кстати, думаю Коран изучить. Они ведь, кто настоящие, в единого Бога веруют, и хорошо живут, семейно, чуть не сказал “по-христиански”.

Иван.

Христос воскрес!

Ну, что же, дорогой мой Ванюша, вот и Пасха, до которой ты не мечтал дожить. Дожил, я надеюсь? А теперь не желаешь ли на войну, в Сербию? Может, тебя там прикончат, наконец, во славу Божию. Всё лучше, чем лишиться навсегда упования вечности, повиснув на грязной бельевой верёвке

или не проснувшись от опоя? Умерших от опоя православная церковь приравнивает к чину самоубийц, не отпекает и полагает хоронить за кладбищем, вместе с собаками и артистами. Впрочем, если ты уже мусульманин, то тебе и это не грозит, а в Сербии дело всё равно найдётся, особенно в Приштине. Может, кого из наших донцов там повстречаешь в чистом поле в честном бою? Они собрались на круг прямо на нашей Красной площади у собора, и считается, что они уже в походе с первого дня бомбардировок Белграда. Я опоздала на это историческое событие, и только мне навстречу попалась какая-то мерзкая шелудивая собачонка немислимой помеси с табличкой на шее “сука Олбрайт”, похожая на бешеную, потому что она всё время озиралась назад и скалила зубы на всех прохожих. Я даже на всякий случай взяла Петю на руки, наверное, уж последний раз в нашей жизни, такой он тяжёлый, чуть не надорвалась. Ну, что же, даст Бог, после Сербии и за нас возьмутся, надоело уже это всё по самое некуда. Как один дед соседский сказанул тут наемдни: хоть бы гражданская война, лишь бы это всё кончилось и началось новое старое. Так вот. Он в войну лётчиком был, у него больше сбитых самолётов, чем боевых вылетов, по два-три за раз сбивал.

Если в Сербии погибнешь, мы с Петрушей твою карточку увеличим и под стекло повесим заместо иконы. Я мою полы в кабинетах тюремного начальства, а они пристают ко мне с любезностями, один даже пригрозил, что если я ему не дам, то из тюрьмы не выйду. Думаю, слабо ему будет.

Целую, М.

Милая моя Мария!

Не пугайся, я не уехал в Израиль, а я на Святой Земле в паломнической поездке. Наверное, вернусь раньше этого письма, а Бог даст, и заеду к вам на возвратном пути, потому что поедем отсюда морем через Новороссийск. Но мне хочется, чтобы вы получили конверт с маркой из Иерусалима. Никогда я даже не мечтал, что буду здесь! Нет худа без добра, спасибо перестройке, не к ночи будет помянута. Всё случилось чудеснейшим образом: батюшка, у которого я исповедовался на Духов день, пришёл в ужас от моих грехов, уныния и неверия, и взялся устроить меня в этот рейс практически бесплатно, только понадобились деньги на паспорт, который мне сделали всего за неделю, и я успел буквально в последний момент. Признаться, я даже и не хотел ехать когда-либо в Палестину, потому что боялся встречи с теми местами, которые я когда-то принял уже себе в душу, читая впервые Евангелие. Я боялся, что вера моя ещё больше пошатнётся, но видно, что больше уж некуда. А отказываться от промысла, от провидения, когда Господь тебя Сам призывает, тоже нельзя, и вот я здесь. Конечно, много суеты и искушения, и всего лишнего, но как же без этого? Хорошо, что на корабле батюшки служили почти каждый день, и есть рядом настоящие верующие, от близкого общения с которыми я в последнее время совсем отвык, например, писатель Крупин. Он всюду ходит здесь босиком, как русские крестьяне-богомольцы сто лет назад, несмотря на раскалённые камни и пески. Я было тоже попробовал, но не тут-то было, отдернул ступню, как от сковородки. Ему-то вера помогает, понятное дело. А меня земля наказует, вразумляет, даже осёл у храма 12-ти апостолов, что у Тивериадского озера, чуть было не укусил, когда понял, что у меня в руке не припасено для него никакого угощения.

Надо сказать, что палестинцы к нам тоже не очень, настороженно относятся. Видимо, это после того, как СССР приказал долго жить, и Россия занялась строительством колониализма. Кстати, много евреев живёт в кибуцах, т. е. в коммунах. А что, они и были всегда первые коммунисты, да и потом, чего не жить в коммуне, когда бананы и финики сами растут, только поливай. Впрочем, земли настоящей почти нет, вся уничтожена до коренной породы. Поэтому её завозят. Думаю, что России хватит им вполне, чтобы завезти её в несколько ярусов. Они сами признают, что более-менее сносно жизнь у них начала налаживаться десять-двенадцать лет только как, то есть с тех самых пор, как стала рушиться у нас, и, стало быть, ясно — кто и зачем затевал перестройку и куда потекли или полетели российские денежки и силы, и всё прочее.

На сегодня — всё! И всё же я хочу тебе вдогонку сказать, что цветущее поле льна, по которому мы гуляли с тобой за околицей в конце июля, больше произвело впечатления мне на душу, чем все священные камни — обветренные и иссушенные — здесь. Не знаю, но мне так чудится, что Спаситель давно покинул эти пески и воды (Мёртвое море) и живёт в России, на святой Руси, на земле Белого царя. Я докажу тебе это со всей ясностью!

Милая Мария! Какое славное у тебя имя, я так люблю его, люблю тебя, прости меня, я очень соскучился.

Иван.

Милая, хорошая моя!

Мария, прости мне всё и сразу!

Не пью уже четвёртый день ни капли, не курю и так далее по порядку. Короче — завязал, и ощущения пошли самые непредсказуемые, сродни галлюцинациям наяву. Что-то слышится, как голоса: Иван! — Что? — хочется в ответ, и спохватиться. Тут дом взрывали, кстати, о птичках. Друг позвонил с Гурьянова, у нас, говорит, по соседству будут нынче дом взрывать, ну, имеется в виду — дозвывать после теракта, приезжай, поглядим, пивка попьём. Вот я и ездил смотреть.

Неужели же мы это заслужили? Вот зажжёт свечу у образа Пресвятой Богородицы, всё легче, не один вроде как в комнате сидишь. А что дальше, кто следующий? Пламя свечи колеблется, головой качает: ну, Ваня, ну, Лозовой, ты даёшь! А что — Ваня? Я уж всё перепробовал в этой жизни. Лучше Марии ничего на свете не нашёл. А она меня не любит, так только, прочь гонит, проклиная. И на это письмо не ответит. Не так, что ли?

Иван.

Здравствуй!

Напрасно ты так, Ваня, я тебя не любила, не гнала и уж тем более — не проклинала, и на письмо твоё, как видишь, отвечаю сразу. Мы сами тут прокляты и забыты сидим, хоть бы нас кто взорвал, так мы бы хоть как жертвы за Родину обрелись бы мигом в царствии небесном, да кому мы нужны? Я ловлю себя на том, что завидую этим несчастным, погребённым под страшными горами бетонного мусора с бытовой начинкой, потому что они уже все в раю, а мы здесь прозябаем, и ещё неизвестно — в каких грехах обрётёмся? Напрасно ты, Ваня, думаешь про меня плохо, ты ведь знаешь, я не такая, я просто уже не могу видеть тебя глупым, злым, уж не говорю — пьяным, всё это противно и давно пора бросить, не мальчик уже, да ты и сам всё знаешь, а ничего изменить не можешь, я же вижу, как ты мучаешься, и мне тебя жалко, и главное — мне досадно, что и я тебе помочь не могу. Петенька опять притих, ничего не говорит, не спрашивает, опять не здоров, а купить лекарств — денег нет, тяжело это всё очень, а так хочется хоть чуточку хорошего доброго чувства, немного покоя, уюта, Господи, неужели же этого никогда ничего не будет? Не знаю... Мне ещё кажется, что меня бабка прокляла летом, я не говорила, это когда нас обокрали, последнее унесли. Иду я это из собора, а она на перекрёстке стоит, вся сторбилась, лица не видать, и обе свои чёрненькие ладони держит вместе лодочкой. Я было мимо прошла, но потом вспомнила: “Просящему дай”. И возвратилась. Возьми, говорю, бабушка, денежку, а она вдруг кинулась от меня, и я ещё, дура, за ней несколько шагов делаю, и тут она резко так обернулась, ужас, баба Яга настоящая! Я окаменела, а она прокаркала мне: “Возьму, возьму, и это уже начинает сбываться!” Как-то так, не помню точно. И улетела. Тут же я почувствовала, как у меня в спине что-то переменялось, как будто струна лопнула, и с тех пор боли в пояснице. Ну, а остальное ты знаешь. Или забыл, ты ведь такой невнимательный к людям: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да, козлик? Я не сержусь больше, высказалась. Приезжай, мой сокол, покушайся пельменей своих, наливочки в чай тебе ложечку добавлю. Глупенький ты мой, бестолковенький.

Мария.

С Новым годом! С Новым веком, милая моя Мария и Петенька!

Конечно, вместо дедушки Мороза пришёл Ельцин и всё испортил, заставил всех говорить и думать только о себе. Сидел я у ТВ до утра и докладываю: очень странное зрелище все эти фейерверки в европейских столицах... Что празднуем мы все, ведущие отчёт времени от Рождества Христова? Зашёл в Новоспасский ко всенощной, читали часы, не полумрак, а темнота, лишь немного свеч у образов, у батареи под окошком дремлет нищий старик: вот где праздник. Или у того голодного воришки, который, пользуясь вселенским шумом, исхитрился добыть себе и семье на хлеб насущный. Хотелось мне быть с вами, хочется — на Рождество, и почему-то мне верится, что это случится в этом новом году, и тогда он будет новым для нас с тобой, по-настоящему новым. Есть же судьба, этот суд Божий, и он совершается всегда и во всём, или мы случайные на этой затерянной в холодном бесконечном пространстве планете? Уже я отказался от всех безумных своих мечтаний, от мелкого тщеславия, от ложных идеалов, нет, не устал, не постарел, не перегорел желаниями, я бодр и весел и свободен, как никогда, и я знаю, что ныне начинаю новую жизнь. Это смешно, конечно, что оно совпало со встречей 2000, но это, видимо, случайность. Мы возродимся, Мария, потому что, где двое, там и Третий. Я — хороший, просто надо было... переберечься, чтобы успокоиться. Что я делаю? Ничего. И это самое лучшее сейчас. Не ворую, не спекулирую, не обманываю. Много читаю, чиню одежду и обувь, делаю мелкий ремонт, а впрочем... Ну, и так довольно сказано. С Рождеством вас! С надеждой на воскресение! Жаль, что нет Февронии с нами, я бы подарил ей много старых добрых игрушек, которые нашёл на антресолях, когда украшал ёлку. Потерпите ещё немного, не бросайте меня, один я не выдюжу, не справлюсь.

Иван.

Дорогой мой Иван!

Христос Воскресе!

Такая нынче радость в сердце и на душе мир, что хочется поделиться и с тобой, и с целым миром. Разом зацвели у нас яблони и сирень, не могу со двора в избу зайти, всё тянет обратно к этому свету и этой красоте. А Петьку сестра забрала на выходные к родственникам в деревню, вот я одна и скучаю. Дай, думаю, своему напишу, непутёвому, он любил раньше мои письма читать, клялся, что хранит их все в тёткином сундуке, перевязанные розовой ленточкой. Вчера весь день шли и шли на кладбище и обратно люди, хотя на саму Пасху не должно ходить, а на Радоницу только, но так уж повелось ещё с хрущёвских времён, как мирная демонстрация трудящихся, и власти ничего с этим сделать не могли, не препятствовали, и даже полтора-два милиционера (помню-помню, ты их почему-то не очень любишь) обеспечивали порядок. Идут нынче все такие праздничные, хорошо одетые, с детьми, а иные несут раскрашенные яички прямо в белых рушниках. Я вышла к воротам, на улицу, с иными и поприветствуешься, и похристосуешься даже, каждый бы день вот так вот, да нет, долог, долог и тёмн великий пост нашенской жизни, Ваня. Ох, грешная я, глупая баба, мысли мои все, как воробушки, лёгкие, и так их много, и за что мне наказание сие?

Ладно, ещё что? Ко Дню Победы готовимся, в этот раз юбилей, 55 лет, с того начали, что снесли памятник, установленный самими горожанами в сорок пятом году, представляешь? Подвели ночью технику, включили прожектора и давай крушить! Так уж на что у нас народ стал равнодушный ко всему, хмурый, а тут повыскакивали, кто в чём был, на улицу, даже до меня шум дошёл, но я-то уж утром пошла глядеть. Лежат каменные тела героев на земле сырой, как трупы убитых зверски фашистами, да ещё у одного на шее верёвка или канат, вернее, накинут — это они его так бульдозером опрокидывали. Ценности, говорят, памятник никакой художественной или архитектурной не представляет, а сделан из гипса, только что сверху грубо покрашенный. А он не грубо, а каждый год его к Октябрю и к Маю красили заново, и во все эти проклятые годы кто-то же ухаживал, цветы сажал, а у кого-то, Вань, и могилки нет, если без вести пропавши, так люди

сюда, как родным, цветы несли и свечи или те же пасхальные яйца, вербочки, берёзки на Троицу. Совет ветеранов, а в него входят уже почти все оставшиеся в живых ещё ветераны, собрался у порушенного памятника, как на поминки. На глазах у всего города, средь бела дня разложили скатёрку, достали бутылочку белой и помянули. И не дадим, говорят, новый поставить, чтоб тем архитекторам из Москвы ничего не обломилось народных денег. Уже собрали комитет по установке своего памятника или восстановлению поруганного, как был, только в камне. Так что, Ваня, народ у нас не думает, народ живёт, и с вашей “золотой” сражается, как и я с тобой. Приезжай картошку садить.

Целую, М.

Милая, милая, далёкая и близкая, родная и чужая, это всё ты, уже давно мы вместе, давно муж и жена, и просто это жизнь так распорядилась, что всё поврозь мы живём, а между тем, вспомни, Иоанн Кронштадтский жил со своей венчанной, как брат с сестрою. Разве меньше я люблю тебя, что сражаюсь с дьяволом за всю нашу жизнь здесь? Мне что-то ещё надо исполнить здесь, я чувствую, убить кого-нибудь или спасти, крестить, остановить, я не знаю точно. Вчера на Пушкинской был взрыв, думаю, что эхо его дошло и до вас. Случайно я не попал под него, у меня была встреча у памятника Пушкину за час до. Но, узнав о взрыве, я тотчас помчался туда и попал в самые ещё горячие минуты, когда люди, задыхаясь и истекая кровью, отползали, обожжённые, от этой драконовой пасти. И тут ко мне хам с телекамерой, что-то спрашивает, съёт микрофон, снимает, светит в глаза и ослепляет своим прибором, как лазером. Но больше всего меня поразило, что оператор не переставал жвачку жевать. Я и хрястнул его по рожке. А потом и по рукам. Камера упала, что-то там в нейбрякнуло, они на меня все втроём, девица визжит: “Фаши-и-ист!” Сама ты, думаю, нехорошая, хоть и в юбке. И тут милиция, конечно. Зря ты, Маша, меня обличаешь в ментофобии, очень даже я этого старлея возлюбил, всей крепостью моею. “Как дело было, — спрашивает, — товарищи?” Тот мычит, в сторону подземного перехода показывает, а дым в это время почему-то ещё гуще, и мы в него возвращаемся, я голый по пояс, этот в крови маленько, его бабёшка камеру, как ребёнка, прижимает, а у него на груди крест висел на цепях, большущий, как у попа, только не православный какой-то, и старлей снова спрашивает: “Как в Библии сказано? Если ударили по одной щеке, подставь левую?” Он так и выразился, старлей. Этот: “Ну!” — “Тебя по какой ударили?” Он отвечает: по левой. И старлей просто так берёт ему без размаха коротко в правую, и этот брык по ступеням вниз, в дым, как в преисподнюю, мы со старлеем в разные стороны, и только эта, с камерой, стоит и причитает во весь голос, да там ведь все ревут и причитают, даже одна новая американка: “Я десять лет назад уехала, и больше в эту... страну никогда ни ногой!” Счасье-то какое: хоть одной меньше будет!

Сегодня я дежурный по подъезду, вот и пишу, сижу в камерке, соорудили спешно из фанеры, если зимой случится сидеть, то замёрзнешь. Я зимой мёрзнуть стал, как Наполеон на острове св. Елены, и так же, как он, по пять часов могу лежать в горячей ванне, помогает. Это мне вместо тебя тогда, тепло на теле и на душе. Укатали сивку крутые горки, скоро дамся.

Целую крепко. Много ли нынче яблоч? Что у вас говорят о прославленной семье Романовых?

Пиши, Иван.

Дорогой мой Иван!

Здравствуй!

Пора, видно, заканчивать нашу повесть. Пора перестать обманывать, мы не дети. Я снова стала ходить в церковь. У Пети обнаружился слух и голос, он учится в хоре и уже понемногу поёт во время богослужения. Сегодня утром мы оба причащались Страшных Христовых Тайн, ты бы поздравил.

Ты бы, ты бы... Тебя нет и не было по существу, мечта была, и той нет.

Странно ещё, что есть Русь, живут ещё русские люди на своей земле и говорят на родном языке. Я так думаю, что это самое большое чудо и есть. Ты усмехаешься: что нового может сказать нищая провинциалка, мать-одиночка, живущая между кладбищем и тюрьмой на огороде? Ничего нового, но, может быть, это и хорошо — повторять и утверждать каждодневным бытием свои старые истины. Когда эта чёртова ваша Останкинская башня молитвами Святых Отец наших, наконец, возгорелась, у нас даже воздух очистился. Цельную неделю люди ходили, улыбаясь, по улицам, друг к другу в гости и на могилы, которые были заброшены годами, десятилетиями. У тюремных ворот стояла очередь с передачами. Дети начали читать книги. Конечно, жаль девушку-лифтёра, но уж она давно на небе. Так старлица сказала. Может быть, за одну эту светлую седмицу нам вернулись силы ещё на многие годы.

Конечно, они никогда не остановятся, и будут уничтожать нас до конца — телевидением, хлоркой, порнухой и стерилизацией, раздачей бесплатных наркотиков, вербовкой, подкупом, шантажом, террором, лучших отстреливать поодиночке, всё это так, Ваня, и я даже думаю, что нам уготована участь худшая, чем индейская резервация. Но ведь иначе и не должно быть, и Христа они распяли, и распинают ежедневно. Но ещё хуже, если бы нас перестали уничтожать. Это значило бы, что мы согласились со всем, что от мира сего, как многие-многие другие. А ведь очень важно для будущей вечной жизни — в каком состоянии народ придёт на Страшный Суд. Если, конечно, человек не растение, и у него есть бессмертная душа. Я смотрю не в зеркало на морщины, а в окно на образ мира, и в мимолётном, скоропреходящем вижу потустороннее, запредельное, слышу его зов, его чистый мощный голос, и не боюсь, мне не страшно.

Даже за Петю. Тебя мне жаль, но я очень молось за тебя, как надо, настоящему, и верю, что Господь всё устроит, так или иначе, а если не так, то как-то ещё. Ты всё-таки был светлым лучиком в моей жизни, я любила тебя. Спасибо тебе за всё и прощай.

Мария.

**ВЫЕЗЖАЮ ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ С ВЕЩАМИ ВСТРЕЧАЙТЕ ТАКСИ  
ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВАГОН 8 ЛОЗОВОЙ**